



АЛЕКСАНДР ШМИДТ

ПЕРЕПРОСМОТР

СУПЕР Издательство
2017

Александр Шмидт
Перепросмотр

«СУПЕР Издательство»

2017

УДК 82-311.4
ББК 83.3(2Рос=Рус)

Шмидт А.

Перепросмотр / А. Шмидт — «СУПЕР Издательство», 2017

ISBN 978-5-9909810-2-7

Центральная тема романа – судьба человека, остро пережившего удушающую пустоту «эпохи застоя», абсурдность своей службы в органах МВД, ощутившего на себе весь трагизм «Федорчуковской волны» и последующих событий, разворачивающихся на фоне драматических переломных преобразований в жизни народа, всей страны, мутный поток девяностых и, наконец, постепенное осознание необходимости собственной духовной трансформации. Люди, подобные главному герою романа уже не жаждут активного участия в судьбе общества и тем более его изменения. Они уходят на его периферию, становясь созерцателями, магами или философами, так как жизнь в этом мире причиняет им слишком много боли, а познаваемый новый мир рождает все большие чудеса восприятия. И, тем не менее, «они наделяют глубоким смыслом то, что кажется незначительным. Их задача-привнести в этот мир просторную тишину через абсолютное присутствие во всем, что они делают. Их цель – превращать любое дело в священнодействие и оттого их влияние на мир оказывается намного глубже, чем это может показаться, если смотреть на видимую часть их жизни» – Эрхарт Толле

УДК 82-311.4
ББК 83.3(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-9909810-2-7

© Шмидт А., 2017

© СУПЕР Издательство, 2017

Содержание

Предисловие	7
Часть I	8
Глава 1	8
Глава 2	9
Глава 3	42
Глава 4	53
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Александр Шмидт

Перепросмотр

<http://landing.superizdatelstvo.ru/>

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

© Александр Шмидт, 2017

© ООО «СУПЕР Издательство», 2017

Предисловие

«Жизнь – это сон, смерть – это пробуждение». Приходит время, когда человек все ближе ощущает ее дыхание. Все чаще задумывается о ней. И когда она приходит, перед ним, желает он этого или нет, ярко и моментально проносится вся его жизнь. Словно молнией, в полноте ощущений, озаряется и просматривается все ушедшее. При жизни нам некогда было видеть мир, замечать божественную красоту в простейших вещах, мы растворились в мелкой обыденности и «трудовых подвигах», не замечая тайны повседневного.

Только в этот миг, на самом пороге смерти, мы понимаем, что почти всю жизнь были мертвы и зацеплены за множество событий, «несчастий», обид, людей, что не давало нам свободно дышать, петь и смеяться, и что подлинная красота жизни предстала только сейчас. И через мгновенье – нас уже забирает смерть.

В своей книге автор прослеживает всю жизнь героя повествования. В соответствии с реальными событиями в книге описан перепросмотр – древняя толтекская практика исцеления энергетического тела. Автор не делает акцента на самом перепросмотре, не придерживаясь строго его технической организации, хотя его ценность и целительное воздействие на душу неоднократно им лично было проверено. Это художественное произведение, далекое от каких-либо литературных амбиций, главная задача которого лишь в описании особенностей своего быта и времени. Благодаря резким изменениям, произошедшим в стране, память о бывших событиях все более стирается, а литература, описавшая их, верная принципу «социалистического реализма», во многом лжива.

Пытаясь показать изменения внутренних свойств героя на протяжении всего жизненного путешествия, автор уделяет внимание происходящим событиям лишь в той мере, насколько они могли повлиять на изменение души. Он надеется, что прочитанное у кого-то вызовет желание двигаться дорогой собственного духовного преобразования, осознавая главные ориентиры на этом пути: Прощать, Благодарить, Творить и Любить.

Персонажи, используемые в повествовании – вымышлены, имеющиеся совпадения – случайны.

Часть I

Глава 1

Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети.

Но люди – большие, взрослые люди – не переставали обманывать и мучать себя и друг друга. Люди считали, что священо и важно не эта красота мира божия, данная для блага всех существ, – красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священо и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом.

Л.Н. Толстой. «Воскресенье»

Ожидание приговора было крайне затянуто. Клинцов с присутствующей на суде Еленой и «болельщиками» более часа томились в коридорах пахнувшей краской квартиры. Наконец их пригласили на оглашение приговора. Вопреки ожиданиям, злобствующий председатель «впаял» Клинцову два с половиной года колонии поселения для лиц, совершивших умышленные преступления, со взятием под стражу в зале суда. Елена, не сдержавшись, разрыдалась, обнимая Александра. Все были поражены.

– Не нужно, Ленуся, – успокаивал жену Клинцов, – не доставляй этим, – он кивнул в сторону судебной тройки, – удовольствия.

Адвокат Володя Гурский ошарашенно прошептал: «Больше большего... Во, дает!» Тут в комнату зашел конвой из знакомых сержантов... «and all the fun was over»¹.

¹ (англ.)... и все веселье было закончено.

Глава 2

*Казалось мне, кругом сплошная ночь,
Тем более, что так оно и было.*

Из ээковской песни.

*И теперь,
листая альбомы семейные,
Комментируя
северный наш колорит,
Тыча пальчиком
в мою физиономию,
Говорят:
«А вот этот – сидит!»*

(Автор)

Прежде чем идти в камеру, покурили в дежурке. Бывшие товарищи подходили, сочувственно расспрашивали и смотрели как на покойника. Весть об аресте обэхээсника разлетелась по городу, обрастая надуманными подробностями и страстями. Для гэбэшников это было главным достижением и заключительным этапом работы. Народ видит: КГБ никому не позволит нарушать закон. Наказание неотвратимо. Клинцов больше не интересовал их ни в малейшем, тем более что их одиозного шефа Федорчука уже спровадили на покой.

Когда нервное возбуждение ослабело, Александра стала раздражать это сочувственно-бестолковое окружение. Он решительно встал и, охватив рукой приготовленный матрац, обращаясь к дежурному офицеру, хриплым прокуренным голосом сказал:

– Ну что, Григорьевич, водворяй.

Григорьевич виновато пожал плечами и, крутнув на пальце связку ключей, согласился:

– Пошли. Куда деваться?

Спускаясь по ступенькам в полуподвальное помещение изолятора и вдыхая все более плотный дух тюрьмы, замешанный на испарениях грязи, пота и мочи, Клинцов подумал, что за все время работы в новом здании ему не приходилось спускаться в изолятор. Раньше он испытывал стыдливую неловкость перед людьми за решеткой, нечто аналогичное с тем, что ощущаешь перед инвалидом, ненароком продемонстрировав в радостном порыве свое физическое богатство.

Изолятор имел еще множество недоделок, и потому в нем было холодно и сыро. Штукатурка только высыхала, и стены были влажными и холодными, дверцы «кормушек» были распахнуты и криво висели на дверях камер. Когда Клинцов с матрацем под мышкой пошел по длинному, подернутому сизой пеленой табачного дыма коридору, в изоляторе воцарилась вдруг зловещая, давящая тишина. Пытаясь сохранить достоинство и побороть страх перед ужасом неизвестного, он шел, напряженно глядя только вперед, сквозь плотное биополе любопытства, неприязни и злорадства. Из каждой «кормушки», как из вражеской амбразуры, в него были устремлены очереди ненависти и проклятий, и он чувствовал всей кожей, всем существом своим, как душа его под их губительным огнем сжимается в корчах.

– В десятую, Николаевич, – предупредил дежурный. Клинцов зашел в холодную камеру, как в могильный склеп, и положил свой матрац на деревянный настил от стены до стены.

– Ну вот, устраивайся. Я одеяло тебе принесу, из следствия передали. Закрывать не буду. Если в туалет захочешь – можешь выйти.

– Ладно, Григорьевич. Понятно, – грустно улыбнувшись, выдохнул Клинцов.

– Ну, давай! Не переживай сильно-то, – неловко потоптавшись на месте, дежурный вышел, прикрыв за собой дверь. Его поспешные шаги, металлический лязг замков и поперечных решеток, разделяющих пространство коридора, вскоре утихли, уступив нарастающему гулу в камерах.

Александр отрешенно сидел на краю деревянного полога, свесив ноги, и выкуривал одну сигарету за другой. Сконцентрироваться на чем-то одном было невозможно. Мысли набегали одна на другую и, как в детском калейдоскопе, рассыпались, вызывая непроходящую боль. Мутным равнодушным взглядом он стал осматривать камеру. Так, движимый неосознанным желанием отвлечься. Его новое жилище было без окон. Серые, влажные, колючие стены. Неприкрытое ничем ведро-параша. Тусклый желтый свет едва проникал из зарешеченной ниши над дверью, с приваренным к ней листом железа, хаотично продырявленного зубилом. Из этих отверстий и струился свет, едва освещая убогое пристанище: «... и нельзя мне выше, и нельзя мне ниже, и нельзя мне солнца, и нельзя луны...»

Глубоко униженный самим фактом появления здесь, в неведомом, чужом и враждебном мире, в новом качестве, чуждым его собственному образу себя, он остро ощущал то обиду, то негодование, то боль, то опустошение от безвозвратно потерянного. Между тем жизнь за дверями камеры все активнее раскрывала себя, поражая арестанта новизной впечатлений. Через час Клинцов, наконец, успокоился и ответ на постоянно звеневший в голове вопрос «Почему он здесь?» пытался обнаружить себя в воспоминаниях событий прошлого.

Место, в котором я родился, до сих пор существует. Только от бараков, в которых жили люди, в том числе и наша семья, остались одни развалины. Летом, когда жара в этих оренбургских степях выше тридцати пяти градусов, оно особенно нагоняет тоску и первобытный страх: дымящий цементный завод, дымящий металлургический комбинат, какие-то дымящие химкомбинаты. Заводской гул и грохот разгружающихся думпкаров. Рядом с бараками огромный тюремный забор с колючей проволокой по гребню. Чахлая растительность, наперекор всему проглядывающая сквозь толщу разноцветной пыли. И жара, от которой спасения нет. Мои первые впечатления о жизни – это жара и неприкаянность.

Первая неделя моего существования еще пришлось на правление великого тирана. Мама была в это время в роддоме и рассказывала: «женщины так плакали, так плакали». Несчастные рабы!

Нас было четверо детей в семье. Воспоминания детства всплывают лет с пяти, когда все семейство переехало на жительство в Челябинскую область. Там строился крупнейший цементный завод и «он-то согнал сюда массы народные». Первое время мы жили у материнной сестры, у которой было своих-то четверо. В двухкомнатной квартирке ютилось двенадцать человек. Понятное дело, дети ссорились и дрались между собой, и это вызывало уже нешуточные споры между взрослыми. Гвалт стоял невероятный!

Я пришел в этот мир тщедушным и слабым, и в детском саду, куда привела меня мама с надеждой пристроить, медсестра, взглянув на мое бледное лицо со впалыми глазами, и для проформы осмотревшая мое костлявое тело, брезгливо и решительно отказалась меня принять. «Это не детсадовский ребенок!» Я остался дома. Бывали счастливые часы, когда в квартире оставался только я один, и несмотря на страх от сгущавшихся зимних сумерек, испытывал подлинное блаженство. Усевшись на широкий подоконник, я мог долго смотреть на огромный багряный шар заходившего солнца, на мелькавших по улице людей, серые двухэтажные дома рабочего поселка. Так я приучался к одиночеству.

В марте мы получили трехкомнатную квартиру – суший рай после долгих скитаний. Хромой Егор подогнал розвальни, запряженные гнедой кобылкой, и началось переселение. Целый день, пока шел переезд и устройство на новом месте, я болтался голодный и неприкаянный по весенним лужам, подернутым тонким хрустящим ледком. И несмотря на то, что я был доста-

точно хорошо одет: мерлушковая, выцветшая до естественности шапка с ушами, завязанная под подбородком, вытертая до кожи кроличья шубка, на ногах валенки, втиснутые в резиновые «прощай, молодость», замерз, как волк у проруби, наделал в штаны из-за промокших ледяных ног и к вечеру уже осложнил жизнь матери высокой температурой и скованным горлом.

Дворовые впечатления были достаточно яркими. Народ был собран со всего Союза. Со своими обычаями, нравами и по-разному пережитой войной. Помню многих искалеченных фронтовиков. Дядю Степу-танкиста, ездившего на грохотавшей металлическими подшипниками деревянной площадке с истертыми кожаными чехлами на култых ног и замасленными орденовыми планками на кителе. Он обычно подкатывал к магазину и стоял столбиком в безмолвном ожидании. Не просил. Напоминал всем о недавней бойне. Женщины, кто постарше, и фронтовики мимо не проходили и угощали вином, едой или деньгами. Через час-другой, не в силах стоять на своей площадке, дядя Степа падал и засыпал с багровым лицом. И людям было досадно и неловко глядеть на пьяного солдата, лежащего в собственной луже, словно они были виноваты в этом. Товарищ моего отца дядя Вася Никифоров, фронтовик, окруженец и бывший партизан. Очень смелый, какой-то истовый мужик. Мастер на все руки и хронический алкоголик. Инвалид по ранению. Он отстроил себе, вопреки существовавшим советским архитектурным запретам, двухэтажный дом, точнее, второй этаж был просто мансардой. Мы, пацаны, бегали смотреть этот выдающийся среди общего однообразия дом, особенно восторгаясь мансардным балконом. Его спасла от фашистского расстрела теперешняя жена – маленькая рыжая тетя Наташа, засыпав картошкой хоронившегося в ларе отчаянного партизана Ваську во время немецкой облавы.

Я запомнил его горланящим матерные песни под трофейный перламутровый аккордеон. Бесстыжие голубые глаза в сухих, горящих огнем веках, острый кадык на худой небритой шее, лихорадочно ходивший вверх-вниз, и какая-то вечно неутоленная жажда.

Минуло тринадцать лет после страшной войны. Детей уже прибыло порядком, и наш двор, как птичий базар, оглашался всевозможными звуками. То любимой игры «в войнушку», где некоторые военные словечки и имена полководцев использовались со знанием дела; то прятки; то лапта, а то уходили «на поляну», благо лес был рядом. Более старшие уже смолили бычки, а Мишка Каланда, четырнадцатилетний подросток, обладал уже всем набором приклатенного бывалого и успешно шел в свое уголовное будущее.

– Эй вы, мелочь пузатая, слышали указ властей? Убрать двор и Октябрьскую. Ну-ка, свалили быстро бычки собирать! Добрые чинари мне тащите.

Жуткие веяния «холодной войны» также находили свое место в наших беседах, и угроза заболеть «атомом» сковывала наши сердца своей неизвестностью и безжалостностью. И тут Каланда был авторитетом, неспешно и со значением разъясняя нам, «придуркам»:

– Когда человек заразится «атомом», ну, как в Японии после бомбежки, у него мясо кусками отпадает от кости.

– И что, прямо кость видно? – с неподдельным ужасом спрашивал кто-нибудь.

– Во, придурок! Через пару дней одни только кости и видно. Чистый шкилет!

Охваченный животным страхом, я никак не мог представить отпадение мяса и еще больше паниковал.

В те времена я являл собой человечка, которого грех было не обмануть или не обидеть как-то. Мои родители много трудились, и до моей жизни особенно не было никому дела. Сверстники сторонились меня, находя во мне какую-то странность и отчужденность. Я, действительно, все более становился грустным, встревоженным и одиноким – человеком «без кожи», то есть абсолютно незащищенным; во мне не бурлила та естественная ребячья жизненная энергия, которая позволяет ребенку защищать себя в кругу сверстников. Отец иногда вспоминал, как взял меня с собой на болото рубить «талу» для забора на усадьбе. Мастерски сделав мне свисток из тальника и дав мне в руки ветку, чтоб отмахиваться от комаров, сам,

напевая, ловко орудовал топором, продвигаясь болотом все дальше. Когда же вернулся, раскрасневшийся и веселый, то обнаружил меня в той же позе, плотно покрытым комарами.

– Санька, да ты что ж не отмахиваешься?!

– Да-а-а. Пусть, – обреченно ответил я, полностью предоставив себя судьбе.

Где-нибудь в Спарте я бы давно покоился на дне пропасти, куда бросали слабых нежизнеспособных младенцев. Новое время и обстоятельства дали мне возможность жить.

Очевидно, я получил именно такое тело и таких родителей, которые способствовали наиболее активному исправлению души. Здоровое тело тормозило бы мое духовное развитие, а любящие друг друга родители не бросали бы в мою душу семена будущих страданий.

Тогда я имел широко открытые глаза, оттопыренные уши и чувственный рот, который часто оставался открытым при встрече с «чудесными явлениями» или такими же рассказами. Я любил всех и готов был искренне служить каждому, а в «тетенек» влюблялся тотально, ощущая в них особую теплоту. Спустя годы глаза мои прищурились, уши прижались, а губы сделались значительно тоньше. Как известно, названные качества не обещают его хозяину ничего хорошего в этом мире. Часто горькие разочарования и озлобление рождаются в заплеванной и униженной душе, или, постепенно подстраиваясь, человек наконец получает свое место в сереньком ординарном ряду себе подобных, с удвоенной энергией и мстительностью унижая слабого и преклоняясь перед сильным. Есть и третий вариант, когда вдруг становится ясно, что не нужно подстраиваться, что открытая душа и искреннее отношение к людям – дар божий. Что нужно его углублять, соединять с мудростью и верой и нести высоко, помогая и поддерживая малодушных и слабых. Однако до таких размышлений я был еще так далек, а предстояло столько осознать ...

Как-то мы гоняли по двору. Была весна, и воздух был так насыщен солнцем, голубизной неба и пением птиц, что в квартиру я забегал только что-нибудь перехватить. В подъезде стоял плотный запах жареного лука и камбалы. Из открытых окон второго этажа несло «... Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой».

Как это часто бывало, обмакнув кусок хлеба сначала в воду, а потом в сахар, я выскочил во двор.

– Сорок один – ем один, – энергично предупредил я товарищей, опасаясь посягательств.

– Сорок восемь – половину просим, – заканючил было Забуга, выжидательно заглядывая в рот.

– Ладно уж, откуси, – смягчился я.

– Эй, толстопузые! Газировки хотите? – небрежно бросил Каланда, разболтанной походкой подруливая к нам. Поднявшийся гвалт говорил сам за себя.

– Ну, значит смотри суда: ты, – он, взяв за «нахлебник», приподнял мою вельветовую шестиклинку на голове, – и ты, – сдвинув армейскую пилотку на голове Забуги, – пошли за мной. Мы с любопытством засеменили вслед, гордые его выбором.

Задача была проста, как три рубля: в подвале соседского дома, под продуктовым магазином, находился склад. Дверь в подвале стояла массивная, но имела небольшие оконца, забитые фанерой. В эти оконца могли влезть только такие «шкилеты», как мы с Забугой, да и то с большим напрягом. Каланда выгнал из подъезда всех лишних свидетелей за дверь, наказав дежурить «на стреме», и ударом ноги сразу вынес фанеру. С большим трудом, царапая руки торчавшими гвоздями и шаря в темноте по грязным ступеням, мы проникли внутрь. Группа приступила к конкретному заданию Каланды: – «Вина!». Слабый свет сквозь открытую дверь подсобики давал нам возможность шариться не в полном мраке. Мы быстро нашли ящики с большими бутылками из толстого зеленого стекла и взяли по бутылке из каждого. Читать мы не умели и взяли то, что, на наш взгляд было солидным. Страх, что мы делаем что-то очень плохое, подгонял меня, и когда Забуга наткнулся на разбитую банку конфитюра и начал гряз-

ными пальцами доставать содержимое, я его резко одернул: «Давай быстрее, а то застучают!» Получив четыре бутылки и прочитав на красочной этикетке с видами Кавказа «Лечебная минеральная вода Нарзан», Каланда, презрительно сплюнув, был очень удручен и погнал было нас обратно: «Что притащили, сявки?! Вино надо было искать!»

– Там нету! И темно, – окрысился я.

– И голоса слышно! Может тетенька зайти! – робко добавил Забуга.

Каланда заматерился и, распахав бутылки за пазухой, аккуратно придерживая снизу, вышел из подъезда, даже не подумав вытащить нас из-за двери.

Когда мы, исцарапанные торчавшими в оконце гвоздями и задубевшие, выбрались наружу, у подъезда уже никого не было. Как выяснилось, вся ватага радостно подалась «на поляну» распивать бутылки, так как само приобщение к процессу распивания было гораздо значимее их содержимого. Возбужденный Забуга, чувствуя себя героем дня, побежал за ребятами, а я, не солоно хлебавши, побрел домой, судорожно глотая подступивший комок к горлу.

Семья у нас была большая, «да два человека всего мужиков-то: отец мой да я». Поэтому, чтобы прокормиться, решено было строиться. Землю для строительства выделили на краю огромного болота, где диких уток было немерено. По нашему участку, как ближайшему к болоту, проходила тропа. Дом строили отец с дедом Иосифом, который бывал у нас наездами из Челябинска, но всю тяжелую работу делал мой отец. Отработав смену на цементном заводе, наскоро перекусив, сразу шел на усадьбу. Фундамент наметили высокий, на что потребовалось немало известняка. В центре же фундаментного периметра был огромный муравейник, и все говорили, что это хорошая примета.

Для охраны усадьбы был заведен большой лохматый пес Топка. И так как отец работал по сменам и не всегда мог быть на строительстве, мне было поручено один раз в день носить еду псине. Усадьба находилась в километрах двух от дома, и все бы ничего, если бы не две беды, подстерегавшие меня на маршруте: индюки и братья Михеевы.

Всякий раз, тащась с бидончиком с пищей для собаки, я был вынужден пересекать огромное поле, где обычно щипала траву стая индюков. Мне казалось, они ждали моего появления и, как я ни огибал, самый крупный из стаи с клекотом гнался за мной. Их страшные голые головы, особенно яркие красные гребень и «борода», вызывали у меня дикий ужас и зверские ассоциации. Не успевал я прийти в себя, уже на повороте к моей улице из углового дома вываливался кто-нибудь из братьев Михеевых и на гнутых коротких ногах подкатывал ко мне. Большой широкий рот с узкими губами, коснеющим языком издавал что-то обычное и нестрашное, и затем, как пропуск в лучший мир, следовал удар «под дых». Я сдерживал слезы и оберегал бидончик, чтобы не расплескалось содержимое. У растущего нашего дома меня уже встречал, радостно поскуливая, рвущийся с цепи верный и одинокий Топка. Наполнив его миску и так же искренне радуясь встрече, обнимая его лохматую голову, я тут же забывал все свои беды.

Детство моего поколения пришлось на разгар холодной войны. Ощущение этого холода, точнее напряженного страха, остро чувствовали все. Старшие – оттого, что ужасы прошедшей войны были болезненно живы в каждой клетке тела, и надвигавшаяся угроза еще чего-то более страшного, чем только что пережитое, ставила людей на грань паники. Молодые, ощущая из разговоров, радио, постоянно проводимых учений и лекций по «защите от атомного оружия» надвигающуюся беду, боялись неизвестности фантастической, губительной войны и «атомной болезни».

Тем не менее народ в ту пору был еще един, сплоченный недавней победой в кровавой войне, всеобщей бедностью и оптимистичен, несмотря ни на что. Ходили целыми дворами на футбол, на танцы, слушали по радио постановки и концерты и радовались настоящему. Еще не было разъедающей душу погони за материальным, а коммунистическая пропаганда не была еще так далека от народной жизни и так удушливо лжива.

Мы жили так же, как и большинство людей – бедно. От рахита нас, детей, спасал рыбий жир и коза Люська; небольшое хозяйство, разведенное отцом недалеко от дома. Время от времени у меня скапливалась куча мелочи, которую я не мог сосчитать, потому что не умел, и, в предвкушении праздника, я волокся в любимый мною продуктовый, и там, отстояв очередь, не без достоинства высыпал всю кучу медяков на прилавок. Получив в газетном кулечке свою вожденную сотню граммов кофейных подушечек, я бродил по улицам не спеша, наслаждаясь, и пока не съедал последнюю карамельку, домой не шел, чтобы не делиться с сестрами.

Иногда с пацанами мы делали «налеты» на продуктовый. Не думаю, что по большой голове, скорее так, из озорства. Нужно было долго стоять у прилавка, пока на нем не появлялось что-нибудь особенно привлекательное, например, половинка баранки или краюха батона. Внезапный бросок к прилавку, и мы уже с добычей на улице, а здесь попробуй, догони нас!

В шестидесятом году моему дикому детству пришел конец. В последний день лета я надел серую школьную форму, ремень, на бляхе которого стояла буква «Ш», форменную фуражку с кокардой и новые ботинки, которые сильно жали. Мне дали скромный букетик садовых цветов, неимоверно смущавший меня, и я, косолапо ступая, пошел с мамой к школе. В этот день был куплен большой арбуз и загадано желание: если будет сладкий, то я буду хорошо учиться.

Ближайшим сентябрем, в разгар «бабьего лета», когда воздух сух и лучист от яркого солнца и небесной голубизны, а белоствольные березки чисты и убраны золотом, мы переехали в новый дом. Хотя он стоял на краю болота, улицу назвали благородно: «Набережная», словно это был Петровский дворец на берегу Невы. Наше жилище состояло из трех комнат и большой кухни с печью. Позднее была пристроена холодная веранда. Всей организацией строительства и добычей строительных материалов занималась мама, проявляя недюжинные способности. Семижильный отец работал и на заводе и на доме, тем не менее зачастую упрекался матерью, что «гвоздя на стройку не принес». Сработанный из шпал, обшитых снаружи дранкой, и оштукатуренный, дом получился сухим и теплым. Мама напекла пирогов в новой печи, и аромат рожденного очага разнесся по округе.

Вопреки примете – сладкому арбузу и ожиданиям домашних, дела мои в школе начались неважно. Причиной тому были не мои мозги, которые работали вполне исправно, а моя первобытная дикость. Я не мог сосредоточиться, когда на меня обращали внимание, вызов к доске был подобен пытке: я что-то сомнамбулически шептал, краснел, потел, и не более, я шараялся от сверстников и не играл с ними, а установленный порядок воспринимал как посягательство на свою свободу. Однажды дорогу в класс мне перегородил рьяный дежурный, проветривавший помещение. Без особых раздумий и тем более слов, я врезал ему по физиономии и рассек губу. Когда он упал, зажимая кровившую губу, я прошел к своей парте, взял что было нужно, и спокойно вышел. Перед началом урока учительница вывела меня к доске и я, затравленно озираясь, вынужден был извиниться, так, впрочем, и не осознав, за что был подвергнут этому унижительному процессу. Очевидно, моя бывшая любовь и доверчивость к людям после безжалостного их попрания постепенно переходили в противоположные качества, и я все более становился волчонком, волею судьбы попавшим к людям.

Наступила зима. Мне купили настоящее зимнее пальто «на вырост». После бабушкиных «самошитых», хоть и добротных, это было первое мое фабричное пальто. Чтобы видны были руки, рукава высоко закатывались, а когда я брел по узкой тропинке, на сугробах оставался след. (Я носил его аж до пятого класса, уже едва втискиваясь). Школа располагалась достаточно далеко от дома, и дорога пролегла по широкому полю – истинное раздолье для снежной пурги. Мама работала учительницей начальных классов в этой же школе, и утром мы отправлялись с ней вместе. В одной руке у нее сумка с двумя-тремя стопами тетрадей, в другой я, скованный огромным пальто и сугробами. Предутренняя зимняя тьма. Вьюга бьет в лицо, и нам первым приходится тропить огромное воющее снежное пространство. Снег плотный, и провалившись, я упираюсь коленом в полы своего злосчастного пальто. Мама вытягивает меня, и каждый шаг

изнуряет ее все больше и больше. Наконец, окончательно выбившись из сил, она освобождается от моей руки и отчаянно кричит во тьму: «Да что же это такое!? Ты будешь шевелить ногами или мне тащить тебя до самой школы!?» Я остро ощущаю свою вину и бессилие, но энергии от этого не прибавляется. Уф-ф! Вот и школа.

На следующий год я перешел в новую, построенную недалеко от моего дома школу. Она была большая и современная. Мы учились в три смены, так как детей после войны «настрогали» изрядно. На перемене в буфет нам, малышам, протолкнуться было невозможно, а заходить в туалет – страшно. Огромные заросшие детины, отсидевшие не по одному году в классах, смоля «Беломор» и изоощренно матерясь, всегда забавлялись над мелюзгой: то пинком, то затрепачив. Известное дело – дети рабочих, изысканным манерам не обучены.

Жизнь в рабочем поселке – всегда худшая середина. Нет той естественной прелести деревенской жизни на природе, ни раздолья, ни открытых людских отношений. С другой стороны, нет и цивилизованных благ городской жизни. Все как-то «сойдет и так». Впрочем, удовлетворяя возросшим требованиям пролетариата и творческой интеллигенции, в поселке открыли музыкальную школу по классу фортепиано и баяна. Так как у меня был хороший музыкальный слух, я был определен в ученики. От пианино я деликатно отказался, предвидя всю проблему и ответственность, которую взваливал на себя сам и, главное, моя семья, а вот баян меня устраивал, хотя одна мысль, что мне придется демонстрировать свое искусство на людях, повергала меня в глубокое беспокойство. Так оно и вышло. Я быстро стал одним из первых учеников, и смело наяривал «Амурские волны» и «Ивушки», но только дома или в классе музыкальной школы. Где-нибудь на сцене или при аккомпанементе я сбивался, тушевался и чувствовал себя последним идиотом.

– Тебе только в подвале играть, – невесело шутила мама. Она была немкой, и имела достаточно ярко выраженные национальные черты.

Однажды весной «Im wunder schoenen Monat Mai, als alle Voegel sangen»² стояла редкая для этих дней жара. Занятия в школе подходили к своему завершению. Однако все пацаны по инерции носили форму. Обезумевшие от погожих дней и предстоящих каникул, школьники носились как угорелые. Не выдержав несоответствия милостей природы с тяжелой шерстяной школьной формой, мама предложила мне надеть шорты с ляжками и белую рубашку с короткими рукавами. Я с большой настороженностью отнесся к ее предложению, предчувствуя, какую пищу для издевательств предоставлю своим сверстникам. Однако спорить с матерью было бесполезно. По прошествии многих лет, вспоминая нередкие эпизоды подавления моей воли со стороны матери, пытаешься понять, как «Отличник народного образования», хороший психолог и опытный учитель, к которому видные люди поселка стремились пристроить своих чад, так легко могла становиться тираном для своих собственных детей, забывая о педагогике и предаваясь исключительно своим мимолетным желаниям и капризам? В образе образцового немецкого школьника с тяжелым сердцем я двинулся к школе. Окольными путями и закоулками я проник в школу, сел за парту и уже не вставал до окончания занятий. Являя резкий контраст со своими «бандерлогами», которые бегали, прыгали по партам, пускали майских жуков и подкидывали девчонкам лягушек в веселой весенней вакханалии, я сидел убитый и отрешенный, с единственным желанием как-нибудь справиться нужду «по-маленькому». Умиленная моим смиренным полуангельским внешним видом, опять-таки из лучших побуждений, учительница вызвала меня на всеобщее обозрение. «Под свист и улюлюканье толпы», держась за края парт и косолапя, я обреченно вышел к доске. «Как эти немцы все-таки умеют себя подать», – подумала учительница и вслух пропела:

– Вот! Вот как нужно одеваться сейчас по сезону! А вы что? Паритесь в своих формах! Молодец! Садись, Саша.

² (нем.) В прекрасном месяце мае, когда все птицы пели (Г.Гейне)

- Можно выйти? – тихо прошептал я, не желая больше возвращаться к парте.
– Что? – вопросительно и недоуменно переспросила она. – А-а-а, ну выйди.

Я зашагал было к двери, когда услышал бас хронического второгодника Емельянова, которого просто оскорблял вид коротких штанов, подчеркивавших полярные отличия наших миров:

- Да уж, конечно, пусть выйдет! А то как бы не обоссался, пять уроков сидит?!
Класс взорвался от хохота и восторга.

Кривясь от стыда и жестокости, я вышел из класса и торопливо побежал в туалет. Блаженство освобождения превысило подступившую обиду и я с какой-то злой решительностью поспешил домой. Мать поняла свою ошибку. На следующий день я пошел в школу сереньким, «как все». Социализм, п-а-а-ни-ма-ешь!

Последним наиболее ярким впечатлением детства был случай на той же, вечно строящейся усадьбе: мы с Вовкой Сироткиным – соседом по огороду, накатавшись на великах «под рамкой», так как ноги до педалей еще не доставали, и приходилось, скрючившись буквой «зю», перемещаться таким вот экзотическим способом, достали внушительную бобину медного провода. Решив сделать телефон, натянули по огороду две нитки довольно толстого провода. Отыграв свое, оставили все до завтра. Отец с дедом Иосифом усердно работали, запалив для каких-то целей небольшой костерок. Когда он попал в поле моего зрения, то уже затихал, вяло дымя обугленными головешками. Такое его состояние меня не устроило. Я знал, где хранится канистра с бензином, прикоснуться к которой мне категорически запрещалось. Однако разгоряченный творческим поиском, я наплевал на запрет и тихонько подтащил флягу к костру. Ей Богу! Хотел долить в костер только чуть-чуть! Когда огонь жадно, в мгновение ока, побежал вверх по тонкой струйке, я струхнул не на шутку и уронил канистру. Дом мы строили деревянный. Все деревянные изделия: рамы, двери, табуретки и т. п., все делалось своими руками. Кругом лежали опилки, стружка, обрезки доски и бруса и словно ожидали моего «подарка» Хлопок от вспыхнувшей лужи бензина и... все закрутилось в дьявольской пляске огня! Положение спас именно громкий хлопок и отец, обернувшийся на странный звук. Схватив лопату, он стремглав бросился к огню. Нагнувшись или споткнувшись, не знаю, но он не задел моих «телефонных сетей». Дед же, поспешивший на помощь, сослепу напоролся на них. Они пришлись ему аккуратно на горло и опрокинули на землю! Дед говорил по-русски с сильным акцентом, и потому ему проще было ругаться по-немецки, что было не так страшно. Я, бледный и чуть живой, прижался к сараю и наблюдал схватку с огнем. Когда огонь прибили, усталый отец сурово глянул на меня и, скрипнув зубами, погрозил пальцем. За всю жизнь он ни разу не ударил меня. Дед Иосиф не был столь благороден. Он кинулся ко мне, на ходу схватив какую-то палку и что-то заорав по-немецки. Но я уже вышел из оцепенения и со страху так деранул, что когда остановился в безопасности за углом дома, сердце мое выскакивало наружу, а из глаз катились слезы. Вечером, «тише воды – ниже травы», я старался не попадаться деду на глаза, да и вообще никому, было стыдно.

«Хрущевская оттепель»: узкобрючные стилиаги с коками, девушки в узких юбках, мой любимый рок-н-рол. «Всехперегоним» и кукуруза. Проникновенные стихи по радиоприемнику. Разговоры о космосе и атомной энергии. Даже мы, дети, взирая на освобожденный и взбунтовавшийся мир, открывшийся горизонт света и надежды – чувствовали движение к чему-то новому, лучшему, даже если оно называлось далеким и непонятным словом «коммунизм». Ах! К 1980 году СССР построит материально-техническую базу коммунизма! Ах! К этому же году каждый житель будет иметь собственную квартиру! Ах, мы по молоку! Ах, мы в черной металлургии! Ах! Ах! Я сидел за партой и зачарованно слушал свою молоденькую учительницу.

– Вы слышали про атомный ледокол «Ленин»? Раньше сколько нужно было угля, чтобы двигать такую махину? Десятки тонн! А сейчас? Вот такую спичечную коробочку ядерного топлива нужно! – она сделала пальчиками и высоко над головой потрясла в воздухе. Третий класс слушал, как замороженный, испытывая сладостное удовлетворение от колоссальных темпов и мощи своей страны. Двухтысячный год мне представлялся каким-то фантастическим, страшным и непонятным. Мне будет почти пятьдесят лет. Это же старость?! И если будет так хорошо, то кто же станет работать дворником или уборщицей? Я оглядел сидящих вокруг товарищей, увидел их горящие глаза и воодушевленные лица и, даже мысленно, не унизил ни одного, кто мог бы так отстать в своем развитии. Все желали быть, по крайней мере, космонавтами.

Это было время, когда «химия» уже активно входила в наш быт, но о влиянии ее на человека или, точнее, о контроле влияния – ни у кого голова не болела. Как – то мама приказала мне на огороде посыпать капусту от гусениц дустом – весьма распространенным химическим средством от гусениц. Со свойственной мне тщательностью я обсыпал ею белые плотные кочаны, предвкушая окончательную победу над паразитом. Лет через пятнадцать выяснилось, что яд дуста вообще не выводится из человеческого организма!

В школу, кто-то принес огромную лужицу ртути. Мы разделили и передавали ее с ладошки на ладошку восторгаясь и чуть не суя нос в загадочное жидкое серебро! Учительница, обеспокоенная повальным нарушением дисциплины, приказала выбросить «эту гадость» в мусорное ведро, стоявшее в углу класса. Каждый нехотя исполнил приказание. Ведро же с «серебром» стояло в классе целый день! Позднее, в гостях у своих родственников в Германии, я рассказал об этом. Обескураженный и раздосадованный дядя недовольно хмыкнул: «*Russen sind als Kinder*»!³ Хотя мы и были дети, только советские.

Будучи уже вполне выраженным отроком, я решил как-то симулировать простуду:

– Мам, в школу, наверное, не придется идти. Что-то голова разламывается, видимо температура, – убитым голосом сказал я, прижимаясь поближе к печке, на которой варилось ведро картошки для свиньи. Без лишних слов, действуя, как всегда по утрам, быстро и энергично, мама подала мне градусник. Недолго думая (а еще физиком себя считал!), улучив момент, я вытащил из подмышки злосчастный термометр и поставил над кипящим ведром. Легкий треск... и у меня в руке только жалкие остатки градусника. Ртуть и часть стекла ухнули в ведро! Страх и гаденькое чувство предательства охватили меня. Я и понятия не имел о ядовитости ртути (про коммунизм трещали на каждом углу, а вот о ядовитости ртути – никто и никогда не говорил!) и она меня не беспокоила! Но разбитый градусник! Но стекло, которое попадет поросенку! Минута колебаний... и трусость пересилила здравый смысл.

Матери я признался, что уронил градусник на батарею и выразил готовность идти в школу, так как «температура, кажется, прошла». Ведро с картошкой, приправленной ртутью и стеклом, отправилось к поросенку Борьке, который, со временем, пошел на стол всей семье. Это была моя первая осознанная подлость, вызванная трусостью.

Нам, пацанам, в руки попал желтоватый кусок серы. Как водится, мы разделили его, и каждый поджег свой. В сгущавшихся вечерних сумерках падающие на землю капли горевшей серы фосфоресцировали нежным голубоватым светом. Мы бегали по улицам и «капали» везде, где можно и нельзя, пока, наконец, меня первого не затопило, и я, пошатываясь, побрел домой. Дома меня вывернуло наизнанку от рвоты, и испуганная мама отпаивала меня теплым молоком.

Как-то, шастая по заводу, мы обнаружили огромные бассейны с теплой водой (шлам-бассейны для охлаждения технической воды) и, естественно, кинулись купаться. При этом у рабочих, проходивших мимо, эта милая сценка не вызвала никаких эмоций! Национальная

³ (нем.) Русские, как дети!

индифферентность! Попрыгали-то мы в воду лихо, а вот вылезть оказалось непросто. Стенки бассейна оказались крутыми и скользкими от осевшей грязи, и мы, младшие, еще плохо умеющие плавать, не могли дотянуться до края и нахлебались порядочно отвратительной, грязной воды, пока старшие не сунули в воду отрезок трубы, с помощью которой и вытянули бедолаг.

Если ко всем этим картинкам счастливого детства добавить сам факт проживания вблизи мощного цементного завода и комбината асбоцементных изделий; близость к эпицентру произошедшей в конце пятидесятых утечки радиации (Челябинск-40), где, как будут говорить много позже – было несколько Чернобылей – остается только порадоваться, как это я, живой и относительно здоровый, лежу на этих нарах.

Я полюбил учебу с пятого класса. Учебник истории древнего мира, который я принес вместе с другими интересными учебниками из книжного магазина, меня восхитил до дрожи. С этих пор запах типографской краски стал для меня священным и всегда вызывает восторженное ожидание. Я жил среди героев этих цветных иллюстраций: собирал оливки в роскошных средиземноморских садах; стоял плечом к плечу в фаланге Александра, ожесточенно сопротивлялся вместе с братьями-спартанцами при Фермопилах, спасался в морском сражении на обрубке мачты в ласковых водах Эгейского моря, – душа моя порхала от одной картины к другой и все будто узнавала, и словно вновь все переживала!

Наша взаимная любовь с учительницей истории, которая, несомненно, так же любила древний мир, становилась очевидной даже для самых «тугих» учеников класса.

– Всем встать! – громко и жестко приказала Вера Павловна. – Не умеете вести себя на уроке – будете стоять до звонка! Это же не класс, а какое-то стадо баранов! Один, только один человек есть среди вас – это Саша Клинцов! Саша, можешь сесть.

Я сажусь и кожей чувствую, как флюиды сорока пар глаз впиваются в мою спину. Меня тяготит эта исключительность. «Зачем она так сделала?» – тоскливо стучит в голове. Настороженно ожидаю каких-нибудь реплик со стороны одноклассников. Но нет! Большинство нормально ощущают себя в стаде.

Словно проснувшись от вялого однообразия начальной школы, мой мозг заработал на полную катушку. Причем я не долбил все подряд, как это делают отличники, но страстно изучал то, что объясняло мне мир. Частенько уроков я вообще не готовил, особенно весной, когда домой «приползал» уже под вечер и утром, на занятиях, с затаенным страхом, ожидал, что учитель назовет мою фамилию. Однако все гуманитарные науки у меня шли «на ура»! Неблестяще – арифметика с ее бассейнами и пунктами А и Б. Зато интересны алгебра и геометрия, а уж физика, при моей-то любознательности, вообще «песня»! Русский язык и литературу я не считал за серьезные предметы и всегда занимался на этих уроках чем-то другим.

– Клинцов, я давно заметила твое пренебрежительное отношение к русскому языку! – кричала учительница, вырывая у меня любимый журнал «Наука и жизнь», где я пытался решать физические задачи. – Выйди вон из класса!

В нашей трудовой семье читали мало. Как-то ненавязчиво, от матери, мне пришло прагматическое убеждение, что нужно читать те книги, которые дают знание или расширяют кругозор. Художественная литература – для бездельников, хотя сама она страстно любила и «любвные» и исторические романы. Когда она заходила в комнату и находила меня лежащим на кровати с книгой в руках, я должен был тотчас встать, так как сидеть, а тем более лежать при появлении взрослых, и уж конечно родителей, считалось недопустимым и, естественно, прекратить чтение.

– Что, книжечки почитываешь? – язвительно говорила мать, – Лучше бы отцу помог. (Лучше бы ходил за водой; лучше бы убрал в сарае; лучше бы двор подмел и т. д. и т. п.)

Я никогда не читал произведений писателей, которых «проходили», и ограничивался лишь критическими статьями в учебнике и то за обедом, искренне удивляясь, как это можно прочитать такую толстенную «Войну и мир». Несмотря на мое «глухое» невежество, инфор-

мация о произведениях и самих писателях схватывалась мною моментально и отовсюду, укладываясь в голове ладно и надежно, и, не добываясь этого целенаправленно, я слыл человеком начитанным. За сочинения, которые я писал легко и искренне, меня всегда хвалили и ставили пятерки. Ответы на уроках литературы были у меня сплошь импровизацией. Как-то перед началом урока я узнал, что необходимо было прочесть «Отцов и детей» и выписать цитаты героев произведения, характеризующие их мировоззрение. За три минуты до урока я переписываю эти цитаты у нашей отличницы и, когда вызывают к доске, оперирую этим богатством настолько легко и уверенно, словно это была моя любимая книга, и я не выпускал ее из рук ни днем, ни ночью.

Сталкиваясь с повседневной жизнью, в моей голове возникало множество вопросов, на которые отвечали изучаемые предметы. Особое место в этом познании отводилось физике. Причем меня интересовала именно прикладная физика, то, что я мог бы использовать в своей жизни, и когда в будущем, став студентом, я стал изучать теоретическую физику, исписывая формулами по несколько листов для описания «движения заряженной частицы через потенциальный барьер» – интерес к ней сразу пропал. Эта физика тоже объясняла мир, но он не был мне интересен. Это был более высокий уровень знаний, без которого я мог обойтись в практической жизни, и это вызывало скуку. В классе же, я был первым физиком, и дерзновенно осознавал, что все вокруг могу объяснить и понять. Щенячья радость! Познав, я бросался претворять полученное на практике, и «выбитые» пробки в моем доме все более чернели от частого перегорания.

Впрочем, не только физика увлекала меня. Кругозор был достаточно широк, но главным приоритетом в познании всегда была возможность использовать это знание практически. Однажды, выйдя во двор, моя бабушка чуть не потеряла сознание от увиденного: все наши «птички» – дюжина кур и петух, лежали по двору с поднятыми ногами, медленно, как-то сомнамбулически двигая ими. «*Heiß, erbarme dich*»⁴, – прошептала она, опускаясь на ступеньку крыльца. И только мой веселый вид и восстановленное «статус кво» – вывели ее из состояния мистического ужаса.

К концу зимы, а чаще в начале весны, у моих родителей наступала ответственная пора: корова очередной раз «готовилась стать матерью». Мама с отцом дежурили каждую ночь, проводывая Ночку, Жданку или Красульку. И вот, наконец, в одну из ночей, возникал радостный переполох в доме. Все дети просыпались и возбужденные, бежали на кухню, к печке – центру коммуникаций. Отец, с мягкой улыбкой на лице, заходил в дом, держа на руках обернутого брезентовым плащом теленка. Сопливый коровий сын (или дочь) крупно дрожал и очень недовольно смотрел на новый для него мир. Отец бережно опускал его на уже разостланную соломенную постель, а мама с любовью обтирала тряпкой его мокрую мордочку, на что теленок реагировал капризными звуками. Как и все степняки, отец очень хорошо знал и любил заниматься скотиной. Он что-то обрезал с его мягких копыт и давал оценку прошедшему отелу и его плоду. Тут же мы, дети, придумывали имя новому члену нашей огромной семьи людей и животных. Чаще всего это был Буян. Его поили молозивом, с каждым днем увеличивая долю воды, и через пару дней, обсохшего и обогретого, переводили на веранду, где было значительно прохладней. В мои обязанности входил контроль за его естественными отправлениями, и я носился с ведром, угадывая его малейшие желания. Кормил теленка тоже я, опуская пальцы в миску с молоком и смешно чувствуя, как жадно беззубым ртом, он сосет мои пальцы. Буян, как все живое, чувствовал мою любовь к нему и, выражая трогательную взаимность, проходил своим шершавым языком по моей физиономии. Когда он вставал на тонкие, дрожащие от напряжения ноги, они уже не разъезжались, как в первые дни, но со временем становились все крепче. Довольно скоро приходил тот солнечный радостный день, когда Буяна выпроваживали

⁴ (нем.) Господи, помилуй.

из дома. Он уже научился пить пойло самостоятельно и вполне мог жить в сарае. Теленок бурно радовался вновь обретенному миру. Прыгал, взбрыкивая тонкими, худыми ногами, носился по весенним лужам, отражавшим ослепительный солнечный свет, знакомился со всем животным миром, окружавшим его. Пес Карай, спокойно наблюдавший его буйство, сдержанно рычал и отворачивал морду, когда Буян с детской любознательностью принюхивался к нему. Все живое: люди, животные, птицы, весенняя капель и золотые ручейки, воздух, несущий дыхание дня и ярко-голубое небо – участвовали в этой радостной песне и танце жизни! В эти минуты единства сладостно ощущались полнота и совершенство Божьего мира.

Очень мешала мне жить застенчивость, скорее даже более, чем просто застенчивость – комплекс собственной неполноценности. Я мог первым решить задачу, и когда меня вызывали к доске – путаться, не в состоянии сосредоточиться. Как-то после подобного эпизода я, садясь на место, прихватил с собой тряпку. Учительница «раскудахталась»:

– Куда девалась тряпка!? Только что была! Кто взял?

Я не сразу осознал, что сжимаю в руке эту пыльную взлохмаченную гадость. Думал, как-то все обойдется, не желая вызвать смех в классе. Сидел и молчал. Но учительница, не по-женски логичная, быстро вычислила меня и предъявила требование. Класс «ржал», когда я позорно возвращал «заныканное». Казалось бы, чепуха. Забыл – вернул! Для меня же это было непросто и стоило переживаний!

На физкультуре, в шеренге мальчиков, в пятом-шестом классах, я стоял третьим с конца. Это положение сильно удручало мое самолюбие, хотя я был сильнее многих стоящих впереди, так как дома выполнял обязанности по хозяйству деревенского уклада: рубил дрова, топил печь, носил воду из колонки, убирал в сарае за скотиной. Летом к моим обязанностям добавлялось ездить на велосипеде в поле за молочаем и встречать корову из стада. На вольном степном воздухе, в ожидании стада, мы с пацанами носились, как угорелые. Посоленная краюха хлеба, предназначенная для Ночки, при этом быстро убывала, так как я по-птичьи отщипывал от нее незаметно для самого себя. Для встречи с коровой, частенько, оставался лишь скромный кусочек, который стыдливо подавался ей на ладошке. Ночка, оскорбленная таким неуважением к себе, отвечала мне тем же, и я долго носился за ней с вицей по окраинам поселка, пока не пригонял домой.

Я рано начал чувствовать лживость окружающей социалистической действительности. И, хотя, в наше время уже не было этой трагической дури тридцатых годов, где неосторожное слово могло сделать из тебя злонамеренного агента империалистических разведок, однако естественное стремление каждого человека жить свободно, без оглядок и поступать так, как говорит совесть – все более входило в противоречие с «кодексом строителя коммунизма» Ложь, словно метастазы, расплзалась по больному телу империи. Ложь исторгали репродукторы, она змеилась строками всяческих «Советских» и «Красных» газет, украшенная красными лентами и полотнищами, под шум и грохот духовых оркестров, она лилась с трибун и постаментов. Помпезный ее лик особенно был ярок в дни государственных праздников.

Мы уже десять минут стоим с одноклассницей Катькой у ниши с головой вождя. Мы в белых рубашках и пионерских галстуках и строго выполняем приказ учительницы: «Не переминаться с ноги на ногу и стоять, как вкопанные! Людей, которые будут заходить, приветствовать отданием чести!» Сегодня выборы. Гремят динамики, и мы преисполнены важностью осуществляемой миссии. В школьный буфет завезли дефицитные продукты, и народ целеустремленно ломится со входа сразу в буфет. Сырой мартовский холод тянет из постоянно хлопающих дверей, и мы с Катькой, не то от холода, не то от усердия, судорожно дергаемся, не поспевая отдавать честь. Полнокровная и раскрасневшаяся напарница отдает ее с большей охотой, нежели я, продрогший и посиневший на сквозняке, в пять минут сникший, как мимоза. Безмолвный идол, уставленный бумажными цветами, безучастно глядит мимо нас в светлое

коммунистическое «далеко». Мне десять лет, и это первый пятнадцатиминутный срок «соучастия во лжи» – первая репетиция приятия «соцлагеря».

В актовом зале концерт, и я исполняю «Город над вольной Невой». Пою без аккомпанемента, и перед выходом на сцену со стороны видно, как пульсирует рубашка над сердцем. На грани срыва, я вывожу тенорком первый куплет, а вот после слов «здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя» – как отшибло. В голове полный туман. Безжалостный хохоток школьников в зале. Сочувственные взоры взрослых. И, наконец, спасительные аплодисменты. Я убегаю со сцены. Быстрей домой! Ну вас всех!

Дома, за обеденным столом, я спрашиваю отца:

– Пап, а вы с мамой тоже ходили на выборы? Голосовали?

– Ходили.

– А голосовать, это как?

– Да, бумажки нужно бросить в урну.

– И все?

– Все, – неохотно и, как всегда, немногословно отвечает отец.

– А почему тогда называются «выборы»? Из кого выбирают-то?

– В этом-то вся и штука! – с грустью отвечает он, явно о чем-то умалчивая.

К Рождеству и Пасхе в доме всегда проводилась генеральная уборка. Отец с матерью белили потолки мочальными кистями. Краской подводились «рубчики». Все стиралось, мылось, скреблось и гладилось.

Накануне сочельника семья трудилась особенно активно. Как последний аккорд в симфонии чистоты и порядка – домывался дверной порог. На дворе установилась волшебная «Stille Nacht. Heilige Nacht». Снег шел огромными хлопьями. Снежная пустыня внимала величественной Божественной пустоте... И вдруг – сказочная лошадка с мужичком, покрытые снегом, как два кочующих холма. Остановились у дома. Залаявший пес заставил выскочить на крыльцо и обомлеть от восторга. На мгновенье пронеслась мысль о реальности Деда Мороза, когда мужичок с огромной заснеженной бородой приподнял с саней елку и спросил:

– А Марта Иосифовна здесь проживает? Она сосенку заказывала.

Я бросился к деду, утопая в снегу в наскоро надетых «пантофлях».

В этот вечер все было волшебным! Всей семьей мы с наслаждением наряжали пахучую красавицу, доставленную маме ее «родителем» (так она называла родителей своих сорванцов). Вот стеклянный серый дирижабль, вот плоские картонные лошадки с плюмажем... Грецкие орехи, обернутые в фольгу. Конфета «Школьная» в серо-голубом фантике в клеточку и с глобусом. Все орехи и конфеты – в точно посчитанном количестве. И уже дано строгое мамино предупреждение мне, как самому неблагонадежному, от преждевременных посягательств.

Уже ночью, когда от трудов праведных все крепко спали, я тихо поднялся с кровати, в которой восторженно лежал с открытыми глазами, вспоминая пережитые чудеса, и, тихо ступая, вошел в зал, где стояла наряженная лесная гостья. Включив гирлянду, я присел на край дивана и, вдыхая ароматы чистоты и хвои, в высоком томлении и теплой благодарности кому-то, продолжал сидеть еще долго...

Обильный рождественский стол радовал не меньше, и почти все на нем были плоды трудов моих родителей. Начиная от домашней колбасы и буженины и заканчивая мочеными яблоками, всевозможными компотами из груш, слив, вишен, пирогами и «хворостом»

Как и обычно, в такие праздники мама предупреждала, чтобы никто из нас, детей, не болтал лишнего: что у нас в семье отмечается Рождество и, особенно, Пасха. Чтобы крашенные яйца употреблялись только дома, и цветная скорлупа от них нигде не разбрасывалась. Все же мама была советской учительницей и не могла идти против «партийной линии», запрещавшей всяческое «мракобесие». Уроки лжи мы получали регулярно, как ложку рыбьего жира.

Лет с тринадцати я начал заниматься спортом. Секция вольной борьбы. Мосты и захваты. Успехи и поражения. Физически я значительно окреп, а для борьбы с застенчивостью, по примеру великого оратора Демосфена, убегал в лес и там, в тишине, громко читал стихи, подавляя в себе тревогу быть кем-то случайно услышанным. Как-то, дабы побороть в себе боязнь темноты, ровно в полночь, я пошел в наш сад и, несмотря на волны страха, бегущие по всему телу, отстоял ровно столько, сколько потребовалось, чтобы уговорить в себе воображение и «ужасы» ночи.

В старших классах все, кто хорошо учился, пытались определиться с выбором будущей профессии. В институты, тем более из поселковой школы, тогда поступали немногие, выпускника три-четыре из класса, так как конкурс был очень высокий. Мое некоторое увлечение радиотехникой – повальное увлечение конца шестидесятых – иллюзорно повлияло на собственную самооценку и подтолкнуло к поступлению в один из самых престижных вузов на Урале – Челябинский политехнический институт.

В начале сентября я покидал свой родительский дом. Нагруженный рюкзаком и большим старомодным чемоданом, я вышел за ворота, попрощался с мамой и пошел на автобусную остановку. Мама со слезами долго смотрела мне вслед, пока я не скрылся за углом.

Трудно найти двух столь непохожих и противоположных по складу людей, какими были мои родители. Единственное, что было развито у обоих – это трудолюбие. «Сошлись» они довольно поздно, имея уже опыт супружеской жизни, и я был поздним ребенком.

Отец был из глухой казацкой станицы на границе с теперешним Казахстаном и всех людей с узким разрезом глаз, вполне искренне, как и было принято в Уральском казачестве, называл киргизами. Физически крепкий и стройный, приятной внешности и со спокойным, даже кротким взором голубых глаз, в молодости он пользовался большим уважением среди молодых парней, а, испив самогона, частенько бывал и драчлив, хотя не задирист и справедлив. Немногословный и твердый в обещаниях, он не терпел в людях лживости и пустой болтовни, а будучи сам трудолюбив и обстоятелен в делах – не уважал людей праздных и хвастливых. Имея легкий нрав, он частенько что-то напевал из своих казацких песен или из несложной тематики «Красной кавалерии», где в начале тридцатых служил «срочную». Стесненный и диковатый в обществе незнакомых людей, отец расцветал на природе или за крестьянскими трудами. Видно было, что его тяготила работа на заводе, бездушная и чуждая его натуре, хотя всегда он был «передовиком производства», принося домой грамоты, расцветенные красными стягами и головами вождей, и «ценные подарки». «Выполняя и перевыполняя», ему и в голову не приходило поехать куда-нибудь в санаторий или на курорт – все это успешно проделывала за него многочисленная армия советских чиновников и «тружеников» партаппарата. В отпуске его ждали многочисленные работы по хозяйству, и он искренне не понимал, как это можно целый день ничего не делать. Он мог выпить с товарищами, и выпить крепко, как и заведено у рабочего люда после зарплаты или в праздник, однако это событие никогда не имело длительного продолжения. Природная ответственность не позволяла безудержно расслабляться и потворствовать слабостям.

– Николай, куда ты засобирался? Посидим еще.

– Нет, пойду я ребята, мне еще скотину накормить надо.

– Да не пропадет твоя скотина, если и не накормишь!

– Нет. Если не ухаживать – нечего и заводить было!

Благодаря отцу, хозяйство наше всегда было крепким, а его плоды – обильными, и соседи по улице за глаза называли нас «кулаками», очевидно, не представляя себе, каких трудов стоит это кулачество. Психология бедного пролетария жива еще и поныне. В те же времена бдительному советскому гражданину видеть успешное домашнее хозяйство было просто оскорбительно. И на заводе, у вращающейся обжиговой печи, и дома по хозяйству, он всегда был в

работе. При этом ухаживал ли он за скотиной, или подшивал валенки, слышались его бравые казацкие и кавалерийские песни.

Был у него товарищ, худосочный фронтовик, с тремя ранениями, дядя Коля, он же «Ек макарек» или попросту «Макарек». Такое уничижительное прозвище он получил за частое упоминание в разговоре одного неблагозвучия. Любил он выпить, как многие из спасшихся фронтовиков, и не рвать жилы ни на работе, ни дома, тем более, что сил-то этих уже и не было. С детства оторванный от своих корней, раздавленный безжалостной советской системой, он, словно играл с государством: ага, ты меня так, а я вот так! Все равно не буду работать на тебя! Дураков нет! Где он только ни работал, но всегда выкраивал и заботился о семье, сам тоже оставаясь при деньгах. Обида на советскую власть, прикрытая шутками-прибаутками, всегда оставалась при нем. Сколько таких, как он, во время войны, решали для себя: стоит ли защищать постылую власть? И как при этом Родину не предать? Умный и душевный от природы, он являл собой одну из миллионов изломанных советской властью судеб. Огромную его зажиточную семью раскулачили в тридцатых. Продотряд выгреб все. Наутро, несмотря на лютый мороз, было назначено выселение. Униженный отец, причитания женщин, плач детей, а их шесть душ, с замыкающим, девятилетним Коленькой-поскребышем. Повезли, как узналось, на северный Урал. Путь лежал через Реж, где жили дальние родственники матери. На свой страх и риск, наскоро благословив, заставив запомнить адрес и фамилию родственников, мальчишку со слезами выпихнули с розвальней. Что потом – известно: попреки и без того не жировавших родственников куском, голод, бродяжничество, унижения.

На фронте он шоферил, получив два тяжелых и одно легкое ранение, оставшись с изуродованным плечом, на котором как-то еще держалась рука, дырявыми легкими и колодкой зубов во рту, прикрытой изувеченной щекой. Когда напившись, он чихал или кашлял, его непослушные зубы стремительно выскакивали изо рта. Тогда дядя Коля, ничуть не смутившись, шепеляво произносил незабвенное «Ек макарек!» и лез доставать их из какого-нибудь угла. Потом, слегка отряхнув их замызганным платочком, водружал на свое место.

Отец часто помогал своему приятелю, понимая и сочувствуя ему, державшему небольшое хозяйство для прокорма семьи. Здоровому и сильному, привыкшему к крестьянскому труду, отцу не составляло это большого труда. Дядя Коля же, кроме основной своей шоферской службы в пожарке, подрабатывал в школе, где работала моя мама, на стареньком «ЗИСке», который, несмотря на свою ветхость, исправно вывозил заготовленное сено из леса. Я частенько бывал за его фанерными дверями, восхищаясь, как можно было на такой «деревянной» машинке везти огромный воз сена по непролазным лесным дорогам, при этом, не останавливаясь, пить самогонку с отцом, курить и шутить.

Дядя Коля брал у нас молоко, появляясь на своем красном «пожарном» велосипеде через день. Как сейчас, вижу ясное утро, слышу притормаживающий его велосипед у ворот моего отчего дома. Среди деревенских звуков, заполняющих начало дня, ласковый голос дяди Коли, треплющего виляющего хвостом пса Карая, естественно вплетен в эту Божественную симфонию... «Караюшка, милый ты мой, нет у меня никого роднее тебя...» Их разговор с матерью, вынесшею трехлитровую банку «утрешника» мягок и, под стать летнему утру, прост и красив.

На другой картине вижу отца, расположившегося с дядей Колей в тени сада. Незатейливая закуска, внушительные объемы самогонки и мирная беседа друзей. «Коленька, милый ты мой! Ведь куда я иду, когда мне плохо – к Клинцовым!» Умиротворение иногда плавно переходит в более резкие формы. В темах, касающихся несправедливости и унижений «трудящего» человека, доминирует отец. Он скрежещет зубами и бьет огромным кулаком по импровизированному столу, желая немедленного восстановления справедливости и демонстрируя готовность к встрече с врагами человечества. Дядя Коля дипломатично сглаживает возникшие пароксизмы и, переводя беседу в тихую гавань, заключает: «Коленька, милый ты мой, а если я тебя не понимаю, скажи «Ек, макарек! И все!»

Трудолюбие отца гармонично сливалось с предприимчивостью матери: у нас был самый большой и разнообразный сад в округе; первая газовая плита, первые же холодильник и телевизор. Бывало, ребятня заполняла полкомнаты, чтобы посмотреть детский фильм или что-то фантастическое, вроде «Человека-амфибии». Одним словом, дом был «полная чаша». Не хватало одного: мира, духовного единения и любви.

Поселок, в котором мы проживали, не имел поблизости ни реки, ни озера. Точнее, озеро, притом красивое, было, однако изначально использовалось для нужд воздвигнутого завода, и купаться в нем запрещали. Взамен него, проявляя трогательную заботу о трудящихся, власти на другом краю поселка вырыли котлован, который, недолго думая, заполнили водой. Жалкое человеческое творение, созданное рабами без души и здравого смысла, природа брезгливо отторгла: рукотворное озеро на второй год своего существования обнажилось до бесстыдства, а запущенная в него рыба – подохла. Посему люди ездили отдыхать за пару десятков километров, на речку, не глубокую, но душевную.

Страна «семимильными шагами» шла к окончательной победе социализма и окончательной же победе над человеком, создавая из него серого, невежественного и безразличного «строителя коммунизма». «Рабочий коллектив» обязан был не только совершать ежедневные производственные подвиги, но и, время от времени, «культурно отдыхать», пребывая в полной гармонии с партийной нравственностью и честью. А так как выделяемой профсоюзом техникой (мотоциклы, автомобили) народ не баловали, самым ходовым транспортом были грузовики с деревянными бортами.

– Быстрее собирайся! Папина бригада, с семьями, едут на речку отдыхать! – приказала мне взволнованная мама. Собирать мне было нечего, все при себе, и я, в ожидании нахлынувшего счастья, выскочил за ворота, обнаружив стоявший грузовик, заполненный «семьями». Пролетариям, к числу которых относился мой отец, не чужд и поныне пикничок на природе!

Я, восьмилетний «дохлик-зяблик», выросший в убогом, неустоявшемся мирестроек и разрушений, впервые в жизни увидел речку, неспешно бегущую меж изумрудных берегов. На крутом берегу, где мы расположились, я стоял, зачарованный и неподвижный, жадно вбирая в свою душу истинный мир Божий. Дети, приехавшие вместе со мной, были мне не знакомы, и, по своему обыкновению, я дичился их. Застолье на природе было бурным и, как обычно, не в меру обильным. Мужики, с нарастающими оборотами, говорили о работе и своих обидах на начальство и нерадивых товарищей. Женщины вполголоса поближе знакомились друг с другом, обменивались опытом борьбы с бытовыми проблемами и потихоньку начинали «перемыывать косточки» общим знакомым. Наконец, сбив охотку, все подались к реке.

Не зная дна, кинулся купаться и я. Бултыхался отчаянно, но, тем не менее, довольно быстро пошел ко дну. Плавно, как падающий осенний лист, на ходу конвульсивно глотая воду... Очнулся я на берегу, щенком выброшенный из реки мускулистой мужской рукой. Заботливо укрытый маминой курткой, я сидел, по-воробыному нахохлившись, изрыгая нескончаемую речную воду.

В это время на живописный обрыв над берегом взошел молодой, высокий и красивый парень. Гордо задрал свою пьяную и, очевидно, не отягощенную мозгами, голову, приняв позу Аполлона, дернул за тесемки плавок, обнажив то, что почитал за свое достоинство... Женщины, вначале наблюдавшие за его ужимками, стыдливо отвернулись. Мне стало совсем тошно от таких демонстраций, и я робко запросился домой. Но отдых еще только входил в свой апогей, и ряды «белого» в сумках уже ждали своих орлов.

Второй заход был не столь мирным, и драка, к ужасу женщин, приняла грандиозные масштабы. Дамы визжали и, верные долгу, отчаянно разнимали мужей. Мужики грязно матерились и бесстрашно кидались в атаку друг на друга. Отца уважали, но и ему, чтобы восстановить «status quo», потребовалось приложиться не к одной челюсти. Для меня подобные бои не были

в новинку и приводили к безвольному оцепенению. Я стоял в сторонке бледный и полуживой, заполненный до краев «незабываемыми впечатлениями» дня, а вот со старшим мальчиком из нашего «благородного собрания» случился истерический припадок. Он упал на землю и, страшно хохоча, судорожно дергался всем телом, ударяя по земле руками и ногами, словно участвовал в драке.

На обратном пути пошел дождь. Открытый кузов заливало водой и она, смешиваясь с грязью и кровью раненых бойцов, уходила в щели деревянного борта. Люди молчали. Женщины, прикрывая прорезиненными плащами себя и прижавшихся детей, скорбно сидели с мокрыми усталыми глазами. Были это слезы унижения или капли дождя? Валявшийся на голых досках кузова молодой мужик, в изодранной окровавленной рубашке, с нелепой шиной из двух толстых веток, на перевязанной переломанной левой руке, пьяно бубнил:

– Ты, дядь Коль, правильно меня ударил! Я на тебя не в обиде, а вот Генка, подлюга, у меня еще получит добавку! Щас, приедем...

Никто, кроме детей, не обращал внимания на его болтовню. В душах было пусто и грязно.

Мама была из немок, урожденная Лерхе. Корни по этой линии нисходили в судетскую область северо-западной Чехии, откуда в 1914 году был призван на Восточный фронт мой дед Йозеф. Обаятельный молодой человек, только что окончивший «сельскохозяйственную школу», предполагал, как и большинство его предков, быть управляющим в каком-нибудь богатом имении, но... началась война, и он, попрощавшись с невестой Мартой, ушел из родных мест навсегда. Рослому, жизнерадостному и любвеобильному Йозефу, красовавшемуся в голубой армейской форме (вспомните Швейка!) – подданному Австро-Венгерской империи, было уготовано место в конной разведке, и ожидала нелегкая судьба. Не знаю его военных приключений, но доподлинно известно, что в шестнадцатом году, в Киеве, он сошелся с обрусевшей немкой, девицей Иреной Остенберг, моей будущей бабушкой. В сумасшедшем водовороте событий, чем отмечены те годы, Лерхе тем не менее женился и остался на Украине, рассчитывая присмотреться к весьма привлекательным обещаниям большевиков: «Земля тому, кто ее обрабатывает!» В 1917 году родилась моя мать. В начале тридцатых, спасаясь от голода и наглядно замечая, как большевики все больше входили в раж в борьбе с «контрой», семейство, уже отягощенное тремя детьми, срочно двинуло за Урал: к чернозему поближе и от начальства подальше. Это решение и спасло семью.

Деда я почти не помню. Он приезжал к нам помогать строить дом. Он не любил меня и, как все дети, я хорошо это чувствовал. Для него я был, вероятно, слишком замкнут и робок. С его приездом в доме начинались назидания и наведение «Ordnung muss sein».⁵ То стекла окон недостаточно прозрачны, то на гребнях, хранящихся в узорчатой «выбивке», мирно висевшей на стене, обнаруживались волосы... Старик очень страдал от отсутствия в советских магазинах настоящего кофе и всякий раз, глотая «дешевый эрзац», грустил об этом, вспоминая далекую Родину. Мать побаивалась своего отца и старалась всячески угодить ему, что было непросто.

Она часто пекла пироги и затейливую выпечку, а уж к приезду отца... Привлеченный тонким ароматом, я появился у растворенного окна кухни и запросил у мамы пышущую жаром ватрушку. Мама, предвидя возможные последствия, постаралась незаметно сунуть мне благоухающее чудо, но старик заметил жест. Что здесь началось! Дед был очень гневлив и чуть не по-детски капризен: как она посмела в необеденное время развращать ребенка такими подачками, отучая от дисциплины?!

Однажды, сидя за столом, он приказал мне принести сыворотку из чулана. Тон приказа и сильный акцент привели меня в замешательство. Йозеф взорвался сразу, видя, как я замешался, не понимая, что ему нужно. Он орал, брызгая слюной, пока я, шестилетний мальчишка,

⁵ (нем.) Должен быть порядок

со слезами на глазах, наконец, не принес ему сыворотку. В эту минуту я получил еще один импринт: страх не исполнить того, что требуют.

Как – то в палисаднике я посадил березку, выкопав ее в лесу и благоговейно прикопав ее корешки у забора. Дед заметил мои труды и, подойдя, равнодушно выдернув саженец и перебросив его через забор, сентенциозно заметил:

– Здесь нужно расти, что дает плод или красота! Rose, Flieder...⁶

Березка для деда, очевидно, не входила в список растений, даривших красоту. Я ретировался, но, отыскав выброшенную березку, втайне от деда посадил ее у соседского забора.

При всей суровости, Иосиф, как его называли на русский манер, был весьма сентиментален.

Мы встретились с дедом у ворот моего дома, когда я возвращался из школы. Он прибывал к воротам напиленные рифленые дощечки, источавшие острый сосновый дух. Я весь сжался, увидев его. Очевидно, он приехал утренним поездом. Дед, увидев меня, вдруг страшно заплакал:

– Иди, иди! Посмотри что твой папа!

Я забежал домой и увидел страшную картину: отец лежал на кровати с забинтованной головой, промакивая запятнанной кровью тряпкой разбитое лицо. На полу стоял таз, на дно которого были брошены остатки бинта и ваты, застывшие и жуткие в зеркале загустевшей крови. Отца, ехавшего на велосипеде с ночной смены, сбил самосвал, всей своей грязной многотонной мощью ударив по лицу. У бедного моего отца были выбиты передние зубы, разбито лицо и голова, поранены руки.

Бабушка Ирина была куда более мягкого нрава. Очевидно, сказалось то, что она родилась и выросла среди славян и рано познала нужду. Предки ее имели сахарный завод в Киевской губернии, однако давно разорились, и «преданья старины глубокой» передавались из поколения в поколение. Рассказывали, что наш предок, владелец завода, был чрезвычайно безнравственен: кутежи, страсти, насилия... Прабабушка же Ирины, по одной из линий, была колдуньей и могла проделывать разные чудеса от «огненного колеса» до жутких воплощений...

Она рано осталась без отца, занимавшегося оптовой торговлей, которого как-то ограбили и убили разбойники. Семейство, мать да сестра, влачило довольно жалкое существование, подрабатывая рукодельем и уроками немецкого.

Те редкие эпизоды, когда она жила у нас, всегда были полны тепла и любви. Будучи глубоко верующей и остро чувствуя антихристово время, она не навязывала нам религию, дабы не навредить, но и не скрывала своей преданности Богу. Что можно за неделю проживания в гостях? Оказывается, можно многое: осветить твою жизнь светом любви; разбудить в человеке дремлющее Я; растворить серость существования и возвестить о вере, оставшись навек веселым солнышком, заглянувшим в холодные мрачные чертоги. Я жадно слушал ее сказки и записывал в тетрадку немецкие и украинские слова. Так, из любопытства. Бабушка ни минуты не сидела без дела, удивляя своей расторопностью и мастерством и, когда наступало время отъезда, я всегда провожал ее на станцию. Черный огромный паровоз, грохоча и вращая страшными красными колесами, весь в клубах пара, подходил к перрону и, вместе с прощальным поцелуем, я расставался с мгновенно промелькнувшим миром света и добра. Бабушка уезжала. Как всегда надолго. Хотелось плакать.

Моя мама родилась за полгода до большевистского переворота и сполна вкусила весь драматизм не вовремя, несуразно и не в том месте зародившейся семьи. Кто был ее отец? Пленный австрияк, воспринимаемый в стране, как человек безродный, замешкавшийся в сумасшедшей, закипанной России. Мать – несчастная голодная немка, потерявшая последний кусок в кру-

⁶ (нем.) розы, сирень...

говороте нарастающих событий. Очевидно, нам не понять этого. Как в ситуации, когда все возвышенные и низменные чувства людей вскипают, рвутся наружу, когда вокруг все сходит с ума, среди выстрелов, насилия и кровавой бойни; когда в беспросветной жестокости и тьме находится вдруг место для любви и зарождения новой жизни? Как?

Жизнь Марты началась в убогой землянке, в селе под Киевом, куда перебралось семейство, чтобы не опухнуть с голоду. Вплоть до уральского периода жизни голод, как мистический монстр, будет преследовать семью.

И на Украине, и на Урале новое время требовало от вступивших волей-неволей в советскую эпоху новых качеств, новых принципов и нового мировоззрения, и они родились. Закаленная голодом и холодом, рано осознавшая, что от нее требует советская власть; что это действительно «всерьез и надолго» и, одаренная талантами и кипучей жизненной энергией, легко, как первый английский танк, сметавший сопротивление варварских рогаток на своем пути – Марта энергично, по-немецки, принялась за освоение жизненного пространства.

Нужны преданные советской власти комсомольцы? – Я!

Чтобы никаких там буржуазных корней и интеллигентской слякоти? – Боже упаси! Более пролетарских и не сыскать!

Религия? – Обижаете! Не веруем и не тянет!

Коммунизм? – Непременно построим!

Враги народа? – Заклеймим!

Она была старшая в семье, и жизнь торопила ее. Пятерых братьев и сестер, стоявших позади нее, нужно было поднимать, и она обязана была принести себя в жертву, с деланным воодушевлением принимая всю нелепость совдепии. Отрекаясь и подстраиваясь, она не заметила, или не захотела понять, как приобрела ярко выраженные черты человека тоталитарного режима...

При всем этом, дух первенства был неотделим от нее. Первой Марта была везде: в труде, спорте, самодеятельности, учебе с ее пресловутым «бригадным методом». «Даже группа крови у меня – первая», – не без гордости говорила она, показывая большой палец, как знак собственного качества.

На нашем знаменитом обширном болоте произошло очередное происшествие: один из мальчишек, игравших в «войнушку» угодил в трясину и начал тонуть. Его брат, оглашая округу диким криком, понесся домой и позвал отца. Когда подросшие люди по ходившей волнами трясине подбежали к болотной полынье, мальчишки уже не было видно, и только жуткие воздушные пузыри напоминали о случившемся. Отец бедолаги, опоясав себя веревкой, кинулся в полынью... Со второго раза ему удалось вытащить бездыханного сына, страшно обмотанного водорослями и тиной.

Когда услышав бестолковые вопли и завывания в толпе, окружавшей лежащего на берегу мальчишку, подбежала мама, все расступились в нетерпеливом ожидании, видя в ней последнюю надежду. Мать решительно и умело запрокинула «утопому труп» голову и принялась энергично делать искусственное дыхание. Вскоре раздались сильные хрипы и бульканье, и черная болотная вода, под благодарные вздохи толпы, уже покидала тело.

Через годы возмужавший мальчишка за кражу угодил в тюрьму и начал свой нелегкий путь в уголовном мире... Вот и думай, явилось ли его спасение благом для семьи, общества?

Матери, как сильной личности, доставляло удовольствие быть в центре общественных событий и мероприятий и частое появление в нашем доме малознакомых людей, пришедших за мудрым советом к своему депутату, было привычным явлением.

В мелочной раздражительности матери и обреченной молчаливости отца чувствовалась их нелюбовь друг к другу. И если отец только реагировал на ее выпады, то мать – всегда напа-

дала. При том доводила – таки отца до бешенства, когда он, сжав кулаки и скрежеща зубами, грозно цедил: «У-у-у вражина немецкая!», – и уходил подальше от греха.

До брака у матери был друг – офицер Красной армии, погибший на Финской, который «был не в пример нашему отцу». Я слышал эти слова в редкие минуты ее слабости, когда она, плача, презрительно отзывалась о моем отце как о необразованном, грубом человеке. Мне, мальчишке, горько было слышать такое. Словно мать в своих воспоминаниях оставляла нас всех, делалась чужой, а наша семья была вовсе не семьей, а случайным сожителем разных людей.

Зная мою любовь к рисованию, отец подарил мне голубую коробку акварельных красок «Нева». Моему восторгу не было предела! Отец искренне радовался вместе со мной: «Что, Санек, дождался, наконец?!»

– Ведь такими красками все можно нарисовать! – самоуверенно убеждал я всех и, в целях экономии, поначалу, вымазывал краску из крышечек. Однако, отцова зарплата – не только большие деньги. Это нередко день-два дружеских загулов, а уж это – хорошая пища для «благородного» материнского гнева. Подозвав меня, мать прошептала мне на ухо:

– Подойди к отцу и скажи: «Если так будешь себя вести – мне не нужен такой отец, и забирай свои краски».

Горький комок подкатил к моему горлу, и я наотрез отказался. Мать же была непреклонна, она физиологически не могла переносить неподчинения! Со слезами на глазах я подошел к засыпающему на диване отцу и произнес то, что от меня требовали. При этом мои слезы вполне удовлетворили мать, придав сцене искомую режиссером реалистичность.

Эпизоды моего уродливого произрастания и взлелеянных дурных свойств – не были редки в моей тогдашней жизни:

– Мам, учительница по зоологии сказала, чтобы ко вторнику все принесли скворечники. В субботу «День птиц» – старшекласники будут их вешать на деревья.

– Ты сам сможешь сделать? – с большим сомнением мама взглянула на меня и, увидев мое вялое безразличие к теме, добавила, – Ладно, я отцу скажу, чтобы сделал.

Несмотря на вечное отсутствие времени, отец с любовью, как это делал когда-то в детстве, смастерил скворечник, ловко выбрав сердцевину из трухлявого чурбака. Крышка, жердочка перед отверстием... чуть подправленная природа для удобной жизни пичуг. Я не понимал этой природной органичности, и на фоне кособоких и однотипных произведений своих сверстников воспринял скворечник, как нечто старое, несовременное и убогое.

С кислой миной я осматривал творение отца, приготовленное для меня, и без лишнего шума оставленное в углу сарая. Вместо радости необычный вид скворечника вызвал у меня злость и раздражение. Я представил издевательства и насмешки моих школьных товарищей, собственную слабость и обиду от невозможности им противостоять и, схватив топор, искрошил птичий домик в щепки.

Мое, тогда еще слабое тело, уже было до краев заполнено мощным эгоизмом! Об отце я не вспомнил, не утруждая себя даже убрать за собой порушенное. Отец же по этому поводу не сказал мне ни слова – он не воспитывал словами и вообще не воспитывал. Он просто показывал, как нужно жить, а точнее, надеялся, что я увижу жизнь и что-то пойму.

Студенчество мое пришлось на «расцвет социализма». Кругом была беспросветная ложь, запреты и травля тех, кто мыслил иначе. Уже выгнали Солженицына, а Сахарова унижали в Горьком. В институтах был запрещен КВН. На престарелых вождях партии невозможно было смотреть без содрогания. Молодой народ наших общаг солидного технического вуза был преимущественно сер, невежественен и совершенно аполитичен. Пьянки, «пульки», кабаки и сопутствующие утехы – вот основные убогие развлечения того времени. Лишь в «публичке», на первых курсах учебы, я с удовольствием просиживал часами, открывая для себя неведомый ранее мир. На перекурах в курилке я часто знакомился с еврейской молодежью (как в

Чеховском «Ионыче»: «библиотеки посещала только еврейская молодежь»), было интересно и словно дышалось легче. Темы наших бесед были свежи, а их обсуждение – искренним. И это на порядок отличалось от моего институтского круга товарищей. Впрочем, те книги, которые вызвали у меня особый интерес – получить было нельзя. Я, как и подавляющее большинство читателей, считался «неподготовленным» к чтению «враждебной» литературы, и такие книги выдавались только партийным работникам.

«Новый человек», сотворенный коммунистами, начал свою жизнь именно в нашем поколении. Оттого-то оно и считается «потерянным». У нас не было молодого энтузиазма и наивного оптимизма двадцатых – тридцатых годов, робких попыток правдоискательства и опустошающего удивления от жуткой реальности конца тридцатых – сороковых, наполненных вновь родившейся энергией творения и осознания пройденного и увиденного послевоенных пятидесятых и окрыленных шестидесятых. А было у нас серо, убого, пьяно и безразлично. У студентов (во всяком случае, технических вузов) был даже не столько страх перед вездесущим КГБ, сколько полная апатия к какой-либо политической деятельности. Меркантильные мыслишки как бы потеплее устроиться в этой, как многие цинично и презрительно называли свою родину, «стране дураков», существующий режим которой, как думалось, будет существовать вечно и незыблемо. Казалось, весь воздух пропитан ложью и распадом. И я задыхался в нем.

На занятиях по политэкономии я никак не мог взять в толк: зачем нужно это никчемное, неповоротливое государственное управление экономикой, когда рынок сам себя прекрасно регулирует? Молодая преподавательница, краснея и потев от моих курьезных вопросов, заключила: «У вас психология лавочника, и вам трудно будет жить в социалистической системе». «Мне и так трудно жить», – вполне искренне ответил я при общем гоготе группы.

При всем складе гуманитария, зачет по научному коммунизму я сдавал шесть раз. Трудно было понять, кого я больше презирал: предмет или преподавательницу, но мое нутро настолько враждебно, как проглоченную мочалку, отторгало все эти «тезисы» и «составные части», что угроза недопуска к сессии стала реальной. Я смирился и сделал то, что от меня требовали. Преподавательница, бывший партийный работник, а в прошлом – многостаночница, не могла не заметить моего отношения к предмету и «классовым чутьем» распознала во мне потенциального врага. Экзамен по «коммунизму» я сдавал при полном комплекте «шпор», написанных аккуратным девичьим почерком, с выделением особых глав и тем – синеньким, зелененьким, красненьким. . . Пролетарка была удовлетворена.

Первые два года, считающиеся в технических вузах наиболее сложными, я учился хорошо. С третьего же понял, что я не «технар» и все эти триггеры, стриммеры и переходные процессы не греют мою душу, а я занимаю чужое место. Учебу забросил. Матери мимоходом намекнул, что собираюсь бросить институт. Мама, в свойственной ей манере, отреагировала бурно и решительно, заявив: «Вот закончи институт, а потом иди куда хочешь». В те годы поступление в технический ВУЗ было делом непростым, и его окончание давало человеку неписаное подтверждение, что он не полный идиот, и имеет право на вполне приличную жизнь и реальные перспективы. Я малодушно согласился с ее мнением, но учебой, как получением знаний, больше уже не занимался. Была имитация учебы. У меня было «все схвачено, за все заплачено». И хотя наши преподаватели не брали взятки, со всей камарильей сотрудников, лаборантов и прочих лиц, обслуживающих учебный процесс, всегда можно было договориться.

Более всего я страдал на экзаменах, когда получал вымученный, адекватный трудам, «тройк».

– Что же это Вы так плохо подготовлены? Да и на лекциях Вы не показывались весь семестр, – задумчиво ронял преподаватель, листая зачетку.

– Вот же, высшая математика – четыре. Начертательная геометрия – хорошо, физика. . . Хорошо же учились?! А сейчас что?! Поняли, что это несовременно?

Я дипломатично пожимал плечами и грустно, «просяще», вздыхал.

Но более всего уязвляло мое самолюбие поведение наших девчонок. «Политехнические кадры», которые после окончания института и уютно-то не отремонтируют, улыбались, как мне казалось, снисходительно и с долей легкого презрения: «Сашка, ты че? Хоть бы размочил немного – одни трояки» Одна из них, приятная, с бледным желтоватым личиком, с обесцвеченными волосами Ирина Велевич, раздражала меня особенно. По папиной родне она была полячкой, чем чрезвычайно гордилась. Я дал ей злое прозвище «бледная спирохета», которое с большим воодушевлением было принято на курсе.

Как-то сдавали мы «электрические машины» Курс был непростой. Читал его увлеченно и со знанием дела доцент Казарян. Как читал – так и спрашивал. И мы все, особенно девчонки, цепенели от его темперамента, жесткости и бескомпромиссности. «Да, с таким хачиком не пошутишь, мигом за дверь выставит!» – невесело размышляли мы. Дабы как-то угодить неприступному армянину, пяток девушек на потоке превратились в блондинок. Мужикам же не оставалось ничего, как «встретить смерть лицом к лицу, как в битве следует бойцу»

Начались «испытания», как мило говаривали в позапрошлом веке. Все «зарядились» конспектами и шпорами под завязку. Первым испытание не прошел мой друг Серега Волошин. Казарян застучал его с конспектом и гневно, чуть ли не за шкирку, выгнал из аудитории. При чем по цвету лица чувствовалось, что списывание его оскорбляет даже больше, чем обычное незнание. Напряжение стояло в воздухе. Мы шли по минному полю. Вдруг резануло:

– Велевич, что это Вы там достаете!?! И откуда!?! Выйдите вон! – Казарян гневно щелкнул зубами и налился краской.

Он застучал Спирохету в самый ответственный момент, когда та вытягивала из-под юбки конспект. Как легко в нужный момент искренне и с высоким чувством может разрыдаться женщина?! Я увидел это впервые, и меня ошеломило это открытие! «Кающаяся Мария Магдалина» – вот самое точное название возникшей сцены.

– Я сказал Вам выйти! – уже не так злобно и, отворачиваясь с мучительной гримасой, повторил учитель.

Велевич сидела, рыдая и не реагируя на выпроваживания. Все присутствующие девушки тут же поняли, что Казарян спасовал перед обаятельностью, и белокурая Спирохета взяла верх. Это тут же поняла и она сама, пододвинув конспект поближе и прикрыв его рукой. Она продолжала всхлипывать еще долго, пока не списала все, что ей было нужно...

После того, как толково и точно ответил на вопросы билета Валерка Уфимцев, по прозвищу Корнет, Казарян повеселел, поставив ему заслуженный «пятак», Атмосфера разряжалась, и на лицах студентов появились заискивающие, понимающе-приветливые улыбки.

– Я просил Вас математически описать вращающееся электромагнитное поле. Где это написано? У Вас на листе две формулы! – холодно-вежливо говорил со мной Казарян.

– Ну, а второй вопрос? Почему на вашем трансформаторе расширительный бак не разделен перемычкой? На третий вопрос Вы тоже не ответили... Нет! Готовьтесь еще! Кстати, что-то на лекциях вас не было видно!?! Вот результат!

– Да я за колонной сидел, – уже как-то безучастно буркнул я.

– Ты посмотри! Уже пятый за колонной сидел! Как вы только там помещаетесь!?

Семь «завалов» в группе было многовато! Сбросившись, мы купили водки, докторской колбасы и пошли в общагу заливать «горечь поражений».

В разгар застолья Велевич, как героиня дня, получившая вымученный трояк, пользовалась особым вниманием и, опьянев, болтала напропалую.

– Что вы все водку жрете? Неужели не противно? У нас папа в день зарплаты всегда покупает бутылочку коньяка. Нальет себе рюмочку за обедом и все, – назидала Ирина.

– И то под одеялом, чтоб не делиться ни с кем, кто случайно заглянет! – поддакнул я. Все загоготали.

– Мужлан – прошипела Велевич, презрительно отворачиваясь от меня.

– Дура! – убийственно спокойно и с наслаждением, как джокера к хорошему набору, подбросил я, собираясь уходить.

– Сам дурак! Ни одной сессии не можешь сдать нормально! – не унималась несостоявшаяся шляхтянка.

Я промолчал, тем более, что вся братия зашумела, пытаюсь нас успокоить, и вышел из комнаты. «За малодушие нужно платить, – горько думал я, шагая по общежитскому коридору. – Зачем? Зачем я трачу время, учась здесь? Все противно! Все ненужно! Постоянно унижаю себя экзаменами, своим несоответствием месту, которое занимаю. Какая-то «спирохета» с куриными мозгами, будет демонстрировать мне свое превосходство!» Я клокотал и долго не мог успокоиться от презрения к самому себе.

На старших курсах, не учась, а лишь выхаживая заветный диплом, часто презирая себя, я приобрел если не комплекс умственной неполноценности, то значительно подорвал веру в себя, того семнадцатилетнего парня, который воображал после окончания школы, что все может понять, до всего докопаться, все объяснить. Благо, не познавая должным образом технические науки, я активно познавал другое, наконец-то открыв для себя высокий мир поэзии, литературы, истории, философии... да и саму жизнь, которую еще совсем не видел! Тогда я едва мог знать, точнее, чувствовать, что непомерная гордыня, данная мне природой, лечится именно собственным унижением, что Творец только приступает к исправлению моей души, что эти страдания – первое горькое лекарство для исцеления, и это нужно осознавать, и за это нужно его благодарить.

Жизнь была всякой. Но деньги я умел зарабатывать всегда. Я начал подработки с пятнадцати лет, разгружая с товарищами вагоны с цементом и асбестом на местном заводе. Учитель географии – пожилой рыжеволосый еврей, бывший фронтовик, собрав из разных классов отличников по его предмету, предложил летнее путешествие в Одессу и Киев. Для этого нужно было заработать денег. Сколько мы заработали – знал только он. В поездку по местам его детства и юности он взял всю свою семью и бедную родственницу. Дружное семейство с трогательным благоговением посетило «места боевой славы» за наш счет.

В студенчестве квалификация грузчика была отработана мной до тонкостей. Когда приходилось разгружать продукты: овощи-фрукты, мясо на холодильнике – я не переставал удивляться местной складской «шушаре». Если так воровать, что же поступает на наш советский прилавок?

Один темный деляга, некий Распетюк, толкавшийся в студенческой среде, но так и не нашедший в себе интеллектуальных сил чтобы перейти на второй курс заочного отделения, производил набор рабочей силы. Словно рабовладелец на невольничьем рынке, он придирчиво осматривал каждого кандидата и не заглядывал только в рот, чтобы убедиться в крепости зубов – гарантии лошадиного здоровья. За взятку он доставал у наших комсомольских «вожаров» бумаги, подтверждавшие, что мы и есть студенческий отряд. И это освобождало нас от подоходного налога. После окончания работ Распетюк брал от нас доверенности на получение причитающейся каждому зарплаты... Такую переброску рабов он проделывал неоднократно, и об успешности этого подвижничества говорила купленная им кооперативная трехкомнатная квартира. На месте, т. е. на «трудовом фронте», нас уже ждал его старший брательник с корешами, познавшими мудрость жизни не одной ходкой к «хозяину». Понятно, работа была тяжелая, а режим – строгим. Первую неделю, пока «решались организационные вопросы», мы пользовались сухим пайком: две банки тушенки на день. Зато хлеба и чая было навалом. Никто не умер в страшных судорогах, но напротив – было весело и беззаботно, хоть и нелегко. Распетюк как-то отобрал ребят покрепче, в число которых был включен и я. Нужно было, как всегда срочно, разгрузить несколько полувагонов со щебнем. На каждый полувагон – по одному человеку! Мы ухарски управились с делом. Я убедился в своих физических возможностях, и это рождало спокойную уверенность в себе.

После восьми-девяти часов вечера – свободное время. Я делал записи в тетрадь своих впечатлений и появлявшихся порой мыслей. Были там суждения и о родной советской власти. Однажды, вернувшись с работы, я застал Распетюка за чтением моей заветной тетради.

– Ты что, совсем охамел? Роешься в чужих вещах? – накинулся я, вырывая тетрадь.

– Не шуми! Что ты!? – с гнусной улыбочкой скривился он. – Дурила, тебя ж за такие высказывания посадят!

– Не твое собачье дело!

– Смотри... – примирительно предупредил Распетюк.

С тех пор тетрадь я прятал подальше от любопытных.

Мы работали в маленьком провинциальном зауральском городке. Большая часть его школьников продолжала свое образование в единственном в городе кулинарном училище. «Всегда сыт, обут-одет, в чистоте и в тепле» – заветное напутствие родителей, не ожидавших от своих дочерей кулинарных шедевров, но по простоте душевной видевших в училище исключительно полезное заведение. На день строителя мы пригласили несколько девчонок. Однако их привалило столько, что на каждого работягу приходилось по две. Мне никогда еще не доводилось видеть столь грубой борьбы за каждого мужчину! Ситуация была максимально приближена к естественным природным условиям. После каждой выпитой дозы, с обеих сторон, от девушек подавалась закуска со всевозможными «у-сю-сю». Было смешно и неловко.

Когда мы уже приступили к учебе в институте, Распетюк, не желая собирать нас вместе из опасений народного гнева, находил каждого по отдельности и, с наглой рожей, вручал деньги. За полтора месяца тяжелого труда я заработал 200 рублей...

Как-то, перед военными сборами, я нашел стоящую, как казалось, «шабашку». Нужно было помыть кислотой стеклянные теплицы в пригородном хозяйстве. Бухгалтер – толстая пожилая тетка с каменным лицом, так и сказала:

– Управитесь за неделю – получите аккордную плату, – тяжело вздохнув, она смотрела на меня тяжелым крокодильим взглядом, оценивая мой потенциал.

– Рады стараться! – бодро ответил я и поспешил в общагу за Серегой.

Тепличное хозяйство располагалось за городом и, обзрев безбрежный стеклянный город, мы поняли, чтобы управиться за неделю – езда на ночевку в общагу отменяется; нужно работать с зари до зари. И если мы не сложим головы под этими кустами огурцов – имеем реальные шансы получить аккорд. Технология была проста и рискованна: я по лестнице забирался на крышу теплицы и, уперевшись ногами в металлические ребра каркаса, давал команду Сержу, который включал насос с кислотой. После обработки стекол вонючей жидкостью мой верный напарник подавал мне швабру с длиннющей ручкой. Балансируя на скате стеклянного купола, я тер верхнюю часть стекол, рискуя в любой момент проломить крышу и воткнуться бестолковой головой в огуречную грядку. Когда площадь была освоена, я с облегчением спрыгивал, нелепый и смешной в резиновых рукавицах, фартуке и сапогах, а Серега дотирал нижнюю часть. После обеда, а точнее после поглощения пары огурцов с хлебом, поднесенным сердобольными работницами, я, не без гримасы на лице, предлагал Сержу поменяться ролями. Однако он с миной, полной глубокого сострадания и братской любви, обычно говорил: «Шура, но ведь ты же уже наловчился». И я шел в очередную атаку, хлопая фартуком по голенищам сапог.

Спали мы с другом в подсобке на узких лавках. В сумерках нас донимали мухи, в изобилии покрывавшие обеденный стол, а в темноте принимались за дело кровососы-комары. Утром наши пальцы после жестоких контактов с кислотой имели большое сходство с мумифицированными конечностями фараонов и с большой неохотой начинали двигаться.

Работать становилось все труднее: от усталости и голода и, особенно от болей в разъеденных пальцах. Вид «хрустящих зеленцов» вызывал у нас тошноту. Однако, как говорят на «загнивающем» Западе – мы сделали это!

Сбросив ненавистную резину, с лихорадочным блеском глаз, мы устремились в контору. Толстуха-бухгалтер долго муржила нас в коридоре, выплывая «Титаником» и устремляясь то в одну, то в другую дверь. Наконец, пригласила нас подписать расходник. Когда я увидел сумму, вся кислота, ввевшаяся за неделю в мое тело, слилась в единый поток и ударила в голову.

– А где обещанный «аккорд»? Здесь половина суммы! – вскричал я.

Крокодилы глаза начали бегать по бумагам, а язык начал молотить такую умную чушь, не выдержав которую, я угрожающе повторил:

– Где «аккорд»!?

– Ишь ты, разорался! Я тебе что, из своего кармана выплачу!?

– Шура, да ладно, хрен с ними, и это деньги! Поехали домой. Меня уже пошатывает!

Обозвав напоследок потную тушу «жабой», а всю ее контору «ворьем» и «сволочами», под визгливые угрозы расправы мы с Сержем ретировались.

Уже в городе мы заскочили в центральный гастроном и с пещерной страстью начали покупать продукты для долгожданного ужина. Истекая слюной и потом от быстрой ходьбы и тяжелых сеток с продуктами, мы уже вошли в нашу родную общагу, когда Серега вдруг вспомнил: ключи от комнаты оставлены в рабочей робе! Не дослушав моей фразы о том что «так поступать нехорошо», и бросив на лету: «Шура не умирай! Я – мигом!» Серега кинулся ловить «мотор».

Разомлевшие и благодушные от еды и коньяка, мы неспешно вели беседу, курили сигары «Корона», слушали «Ди Пепл» и были щедры к заглянувшим к нам товарищам. И никто, глядя на эти разгоряченные блестящие физиономии, как признак преуспевания, не смог бы представить наш еще сегодняшний цирковой дуэт на ребрах теплицы с кислотным шлангом в руках.

Вообще, я любил зарабатывать деньги, хотя не они были основной целью моей предприимчивости. Я нравился сам себе, когда что-нибудь прокручивал, организовывал, доставал или реализовывал.

Как-то в один счастливый год, получая свою законную «стипуху», я умудрился работать на трех работах: полставки электрика в одном из общежитий, полставки сторожа-дворника в детском саду. В качестве платы за щедро оставляемое мне детское диетическое питание я должен был начистить за ночь ведро картошки, что не особенно меня тяготило. Зато утром, когда я с бидончиком приезжал в общагу со службы, мои товарищи по комнате боготворили меня, уничтожая сырники, омлетики... Третья работа была наиболее примечательной: я работал «мужчиной» в ближайшем детском саду. Что это была за работа! Естественно, за сорок рублей, но ка-ка-я!? «Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол...» этого заведения.

Я скромно открывал дверь этого замечательного дошкольного учреждения и сразу слышал приветливые голоса... Ну, как водится на Руси, «перво-наперво мужика накормить надо». Я достойно и не спеша съедал изумительные по своей чистоте и вкусу (институтской столовке – ловить нечего) первое, второе и третье и на мгновение замирал от восторга. Потом брал тетрадь заявок и изучал их. Все – аккуратный женский почерк. Чистота и опрятность во всем! Как это радует мое сердце, уставшее от борьбы за выживание! «В младшей группе сломался стульчик». P.S. «Да, и еще в умывальнике кран все время подтекает». Следующее: «В старшей группе мальчишки разбили стекло. Нужно срочно вставить! Стекло у тети Гали в подсобке».

– Вставим! – весело соглашался я и брался за дело.

Со временем я стал жить так хорошо, что завел себе сберкнижку, а в день ее пополнения трудовыми накоплениями позволял себе откушать в ресторане и непременно «мороженое с коньяком». Однако сладкая жизнь протянулась недолго. Не минуло и года, как я стоял в длиннющих очередях институтской столовой и тихо просил на раздаче: «Мне, пожалуйста, подливки побольше».

Соведения тяготила меня, подавляя всю эту природную деловитость, загоняя в узкие рамки социалистического стойла, в убогую формулу для Homo Sovietikus: «Быть как все!». Эта формула раздражала меня. От нее разило трупным запахом! Иногда, в депрессивном болоте, я мог пролежать на кровати целый день, а встречные люди на улице казались мне мертвецами. Режим потихоньку уже начал щелкать меня по носу, обманом, хамством, наглостью, укрощая мою прыть и приводя в мирное социалистическое русло. Тупо и холодно желая превратить живое в неживое. У советских людей, а может быть даже не только у них, должно быть на могильном камне три даты: рождения; смерти духа, как компромисса с обществом, совестью, собственным Я; физическая смерть.

После зимней сессии на четвертом курсе я стал подбирать единомышленников для весеннего сплава на плотках. Когда-то, после второго курса, я уже сплавлялся по горной реке в Башкирии, однако это было в июне, и обмелевшая река не представляла больших сложностей. Сейчас же, в конце апреля, выбранный участок являл собой полноводную горную речку со льдинами по берегам, бурными перекатами, резкими поворотами, полуметровыми перепадами и ледяной водой. Третья категория сложности не вызывала большого энтузиазма у любителей приключений, тем более, что требовала недельного пропуска занятий. Кого-то не пускали родители, кто-то просто боялся экстремальных ситуаций. Мой друг Серега сразу согласился с моим предложением, тем более, что спрашивать разрешения ему было не у кого: он жил без родителей. Отца не знал, а мать два года назад как умерла. Я вообще не посвящал родителей в свои авантюры и уведомлял их *post factum*, на что мама реагировала с пониманием и даже участием, никогда не ведя себя, как глупая наседка с цыплятами, а если в моих действиях проглядывали воля и мужество, то принимала это с гордостью. С детства она повторяла мне: «Geld verloren – nichts verloren; Wuerde verloren – viel verloren; Mut verloren – alles verloren.»⁷

Худо-бедно записались знакомые ребята с другого факультета. Команда была в сборе, и мы отправились в Башкирию на сплав по реке Инзер.

Что за чудо находиться в Уральских горах весной! Все живое только отошло от суровой зимы и набиралось энергии для бурного танца любви. Острое восприятие жизни особенно ощущалось после учебных аудиторий и нездоровой жизни в общежитии на девятом этаже! Да еще когда ты молод, голоден и по-звериному здоров и энергичен! К вечеру добрались до Инзера и разбили лагерь. По «заграницам» тогда не мотались и с удовольствием осваивали родную страну.

Таких как мы, судя по огонькам костров в обозримом расстоянии, разбросано по берегу было немало. И кругом молодое веселье, озорной гомон, и, конечно, под гитару: «Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу...» или «Милая моя, солнышко лесное...»...

Природа до утра замерла, чутко внимая шумливым, нагловатым гостям. Инзер, три дня назад еще скованный и заснеженный, дышал холодом прибрежных льдин и недовольно ворчал на перекатах. Черная ночная бездна неба усыпана ярко мерцающей россыпью звезд. К погожей радости!

Плот сработали добротный и надежный, хотя и несколько тяжеловатый – похожий на «главного инженера», подшучивали в мой адрес товарищи. Когда, привязав к днищу накачаные камеры, мы, на счет «три» выбили подпорки, Валерка Уфимцев не успел отпрыгнуть, и остов плота хорошо зацепил его голову. Вопреки нашим опасениям, после такой мозговой встряски его институтские дела пошли еще успешней.

Мы прекрасно проходили «дистанцию», и надежность нашего плота с лихвой оправдывала его завышенную инерционность. На привалах дурачились и горланили песни. Выяснилось, к большому удивлению моих товарищей, что я совсем «не умею играть».

⁷ (нем.) Деньги потерять – ничего непотерять; достоинство потерять – много потерять; мужество потерять – все потерять.

В детстве, в силу характера, самое большое удовольствие мне доставляли тихие одинокие игры и занятия, либо просто созерцание природы. Забьешься куда-нибудь в угол, на крышу, в гущу леса, и смотришь на мир, сливаясь с ним и наполняясь блаженством. Вероятно, мне нужно было родиться деревом. Сосной, согласно календарю друидов, одиноко стоящей на краю обрыва.

Отец никогда не играл со мной, и мы были странным образом отстранены друг от друга. Однажды он поправил мне подушку, когда я собирался засыпать. И этот жест теплого участия в моей жизни я запомнил навсегда. В классе я не дергал девочек за косички и не забавлялся дурашливой борьбой с мальчишками, а если она и возникала, сходу пытался закрутить на «болевой» или «удушающий», благо с возрастом, от занятий самбо и борьбой, мастерство исполнения только возрастало.

Река делала резкий поворот влево и сразу метров через пятьдесят проходила под каменным мостом, образуя между «быками» перепад высот в полметра. Обычно в сложных ситуациях за руль плота брался я, как уже имеющий опыт. Здесь же вызвался рулить плотом Нагашбай – мой товарищ с другого факультета. Очень амбициозный малый, проявлявший свои «лидерские» качества где надо и не надо. Не слушаясь растерявшегося рулевого, плот развернуло, а на перепаде еще и сильно накренило: хлынула вода, плот стал опрокидываться. В лучших национальных традициях Нагашбай бросил руль и кинулся на задрвшуюся «сухую» часть плота, куда со страхом отпрянули и все остальные. Гребь, зацепленная за «быка», скрежетала и выворачивала подгреблицу. Я, скорее из желания спасти руль, кинулся в воду и резко выдернул его. Освободившись от зацепки, плот пронесся под мостом, выравниваясь. На берегу, трясясь от холода и нервного хохота, жалась к костру одна группа наших однокашников, потом другая из мединститута, потом третья... Как выяснилось позднее, все они перевернулись здесь, под мостом, на своих «облегченных» плотиках. Утонули и унеслись диким водным потоком рюкзаки с провизией, ружье. Мой кондовый плот, к ликованию публики, испытание выдержал!

Как-то на привале выяснилось, что у нас кончился «стратегический» запас водки. Самые легкие на подъем потащились за «араком» в ближайшую деревню, а это двенадцать километров в одну сторону! Небольшой аул в горах. Гостеприимные жители встречали нас с искренней радостью, достойной знаменитых экспедиций. Как все-таки прекрасен человек, живущий среди божественной природы, неразвращенный «благами цивилизации»! Взяли «арака». По пути я даже познакомился с молоденькой «кызымкой», которая называла меня Искандером.

К лагерю приволоклись едва живые, что ничуть не помешало развернувшемуся веселью. Через пару часов мы услышали приглушенный ветром зов: «Искандер! Искандер!» Вбежав на ближайший холм, мы увидели вдалеке трогательную картину: Галима, как звали мою знакомую, в одежде, принятой нами за национальный костюм, обнаружив, что мы ее заметили и возбужденно машем руками, – танцевала на далеком от нас, там, где река делала петлю, противоположном берегу реки! Теплый ветерок и она грациозно играли длинным розовым шарфом. Она кружилась и тонко струилась под музыку ветра, порхая над зеленеющим лугом. И это кружение было простым и органичным для нее; она чувствовала естественность своего соития с темнеющими горами, родной рекой, багряным закатом за ее спиной... Милая, подетски искренняя Галима, щедро дарила нам божественные минуты, ничего не прося взамен.

Проза жизни наступила по возвращении, как отрезвление после грандиозной вакханалии. Дабы оправдать свое недельное отсутствие, у знакомых студентов-медиков я достал медицинские бланки с печатями. На них-то чужой рукой, но под мою диктовку, и были написаны неприятные диагнозы наших заболеваний. Сдали в деканат, и вскоре последовал ответ в виде приказа: «За систематические пропуски занятий и обман деканата ОТЧИСЛИТЬ...» Нас с Серегой отчисляли. Очевидно, терпение у деканата лопнуло. Нас не допустили к первому экзамену, потом ко второму... Недопуск или несдача трех экзаменов означали автоматическое

отчисление из ВТУЗа. Если Сергей уже отслужил в армии, то для меня «священный долг» неотвратимо следовал за порогом «Alma mater».

Наша группа, взбудораженная нашим грядущим увольнением, решила всем составом ходатайствовать перед деканатом. Был назначен день и час. Как на грех, в это же время давал свой концерт известный бард, а значит родной брат всех туристов, коими мы являлись, В. Дольский. Нужно было выбирать.

В то время, когда наши однокашники маялись у дверей деканата, мы с Сергеем с волнением слушали бардовские песни!

В конечном итоге нас вызвали на собеседование с деканом. Он отчитывал нас недолго, обозвав «мелкими мошенниками», с чем мы смиренно согласились. В заключительном «идите» уже слышались мажорные нотки!

К «игре века» мы готовились недолго. Скинулись. Подсчитали, чтобы осталось на игру «по-крупному». Вечером мы собирались расписывать пульку.

– Старики! А что мы все мелочимся? Давайте купим целый ящик! Сядем, как люди, поиграем, – воодушевлял всех Пашка Филонов.

– Ну да, сразу весь ящик и прикончим! – скептически бросил Бродский.

– Ну, уж нет! На всю неделю растянем! Может и больше!? – неуверенно сказал экономный Серега.

Никого уговаривать не пришлось. Взяли ящик портвейна «777» и незамысловатую закусь...

Утром в комнату постучали. Негромко так, неназойливо. Самый дисциплинированный из нас Миша Бродский, придерживаясь за стулья и спотыкаясь о разбросанные кругом бутылки, сомнамбулически двинулся к двери. Вошла целая комиссия во главе с деканом Комиссаровым Николаем Максимовичем.

Нет, мы не претендовали на звание «Образцовой комнаты» и могли бы сразу отказаться от участия в смотре-конкурсе. Не надо нам никаких смотров, а тем более комиссий! Но было поздно! Предметы занимали фантастические положения в пространстве, а дух в комнате был таков, что время – остановилось! Мы проснулись от громких чужих голосов и предчувствия беды. Нинка, Пашкина подруга, благоразумно нырнула под одеяло.

Взгляд декана остановился на остывавшей и замусоленной колоде карт, небрежно брошенных на лист бумаги с расписанной «горой». Скорее от желания глотка свежего воздуха, декан предпринял маневр: он яростно собрал карты и расписанный лист и, растворив окно (О, блаженство!) – выбросил все вон с девятого этажа.

– Николай Максимыч, как же так, в окно... Мы же вчера только субботник проводили, бумажки подбирали, – недовольно буркнул Пашка, сидя на кровати с обнаженным торсом и вопросительно разведя руками. – Ай, яй, яй, непорядок!

Максимыча передернуло от такой наглости. Он сказал краткую, но энергичную речь, суть которой была в том, чтобы мы сегодня же освободили комнату, отправившись «к чертовой матери». Когда комиссия удалилась, Пашка протяжно затянул на мелодию «Черного ворона»:

Комиссаров,
что ты вьешься
над мое-е-е-ю
голово-о-о-й
Ты добы-ы-чи
не дожде-о-шь-ся
Комисса-а-ров, я не твой!

– Да, ништяк посидели! Мишка, засланный ты у нас казачок! Зачем открыл этой кровожадной коdle?

Бродский безразлично махнул рукой: кто ж знал?

Мне пришлось активно провести весь день, чтобы к вечеру, зайдя в общагу и подняв друга с постели излюбленным: «Вставайте граф, вас ждут великие дела!», со всеми манатками переместиться на новое место жительства. Вопреки мрачным прогнозам, оно оказалось еще лучше прежнего. Это был профилакторий института с трехразовым диетическим питанием! Оно нам было особенно необходимо, вследствие подорванного здоровья на ниве постижения наук. Профилакторий занимал часть здания, где жили во время сессии заочники. По договоренности, в этом оазисе протертых котлеток и рек «Боржоми», мы должны были перекаптоваться месяц, а потом плавно, естественным образом, переместиться к заочникам. Здесь-то я и познакомился с незабвенной Милой – последней женщиной моего студенческого периода.

На втором курсе я познакомился с Афродитой. Как у Саши Черного: «... описать ее фигуру – нужно краски сорок ведер, даже чайки поразились форме рук ее и бедер». Афродита тоже училась на втором, но на другом факультете, и имела немецкую фамилию Эзау. Она не совсем уверенно называла себя немкой, что для меня было важно, хотя по внешности, без сомнений, была еврейкой. Дабы идентифицировать ее национальную принадлежность, я позвал своего товарища Мишу Бродского и указал ему на Ниночку Эзау, томящуюся в длиннущей очереди нашей столовой. Черный и кудрявый одессит-Миша, словно тициановский Иуда, авторитетно заявил, сильно грассируя: «Она такая же немка, как я француз». Нина иногда заходила в нашу комнату, где жил староста ее группы. Будучи нашей сверстницей, она была значительно старше нас мудростью молодой и красивой женщины. Ее поведение было наполнено достоинством и простотой, без тени кокетства или дешевой игры. В ее присутствии мы все становились услужливыми глупыми мальчишками, вероятно от отсутствия опыта и воспитания. Я и мой комплекс не могли даже мысли допустить, что можем стать интересными для нее. И благоговейно млея, я «в тихую» сочинял стихи, посвященные ей, запечатывал в конверт и относил в письменную ячейку ее общежития. Стихи были дрянные, из разряда «кровь-любовь, розы-морозы», но любовное томление было настоящим. Потом, по прошествии *тридцати* лет, я встретил ее буквально за час-полтора перед отъездом. Слушая мои восторги молодости, она естественно спросила:

– Ну, и что ж ты таким был нерешительным?

– Я считал тебя недостижимой!

– Э-э-х! – с грустной улыбкой ответила Нина, все такая же подтянутая и веселая, – мой-то первый муж так не считал, хотя достоинств у него было поменьше...

Вспомнилось, тогда, давно, уже на пятом курсе, я собирался идти на вечеринку и осторожно упаковывал в газету свою долю: две бутылки болгарского крепленого вина, когда открылась дверь комнаты, и вошла она, Ниночка. Радость встречи была неописуемой! Мы не виделись с ней три года! Тут же было забыто про вечеринку, хотя там ожидала меня подружка. Я узнал, что после второго курса она вышла замуж и перевелась на заочное отделение. Был теплый весенний вечер, и, казалось бы, все располагало к любви и наслаждению. Стемнело. Мы целовались, но когда мое тело запросило большего, Нина спокойно и тихо сказала:

– Нет, Саша, не нужно. Я люблю своего мужа.

Не в моих правилах были связь с чужой женой и уговоры любой ценой. Я укротил свою страсть. Потом я провожал ее. Нежно и долго прощались, не желая расставаться, и встретились только через тридцать лет.

Вообще, как и, вероятно, я сам, отношения с женщинами были у меня ненормальными. Впрочем, что значит нормальные, если речь идет об отношениях мужчины и женщины? Тогда я жил только сердцем: и залетал высоко, и падал низко.

Заигрывания с девушками моих товарищей я находил до отвращения пошлыми.

Я никого не обманывал, и мои намерения всегда были просты и открыты: если девушка была ограничена лишь своим плотским желанием – я был к ее услугам; если это, после пары поцелуев, были виды на будущее – мне было не интересно с ней и я предпочитал обстановку, где «обширен круг друзей, а кружок бутылок тесен». Безусловно, случались и другие обстоятельства, где, мне казалось, в душе разгоралось высокое чувство. Но, как выяснялось позднее, это только казалось.

Ирина приехала с самого «синего моря», точнее, из Краснодарского края. Училась на вечернем, но жила почему-то в общежитии для «дневников». Хи-хи, ха-ха. Поцелуйчики. Обнимания-провождения. Все по обычной схеме. Это сейчас. Но тогда... Я так был заворожен ею, что с недоумением обнаружив ее увлечение детскими сказками, принял это за милую странность, а вступление, чуть ли ни с детства, в ряды тех, кто называл себя «умом, честью и совестью нашей эпохи» – за непонятную мне практичность. Она объяснила это тем, что «папенька приказали-с». Просто папа был партийным вождем районного масштаба и дочурке от всей души желал оказаться на острие борьбы за народную справедливость. Меня это покорило, но «любовь» – взяла свое.

Скоро мы с Сержем Волошиным укатили на практику за сотни верст от родного города. Росла гора окурков, но писем от подруги не было. Я был в отчаянии: слал телеграммы, пытался дозвониться до ее работы, но сослуживцы почему-то все никак не могли ее найти. Василий, Серегин родственник, за бутылкой водки, глубоко сочувствуя, поведал мне о подобной истории из его жизни. Мы так сошлись с ним на этой скорбной ноте, что, изрядно надравшись, непременно решили ехать в Челябинск на его самосвале...

С Ириной я встретился сразу в день приезда, и наш диалог был краток. В ее глазах я видел растерянность, суетность, даже страх, но того, чего ждал – не было. Я сухо вернул ей ее фотографию, с любовью осмотренную когда-то тысячи раз до малейшего завитка, и попросил, как в лучших российских традициях, «вычеркнуть мою фамилию из числа своих знакомых». С тех пор, я не вспоминал о ней иначе, как о «серой мышке» и благодарил Бога за преподанный урок.

Эти стихи, под храп утомленного Сереги, я накропал на той злополучной практике, когда стало очевидно, что отношения мои с младокоммунисткой завершены.

Истерзан,
почернел
и поглупел.
Бессонница в глазах,
и сердце – выжито!
Душу рвут
вопросы,
проблемы.
Роман окончен,
судьбою открыжито!
Ах, уж мне
эти сентиментальные поэтики!
Ох, уж мне,
эти Петрарки и Желтковы!
Нежные
лазоревые цветики
Сопли распустив,
влачат любви оковы:
Подруга,

видите ли, не пишет!
И сразу сердце
корежит с натуги.
И друг нитье
каждодневное слышит,
нет, чтоб отрезать
словом упругим.
А ей плевать
на твое
самомяние,
Слабость в мужчине —
противна.
Не нужно ей
блаженного тления,
Она в партийной
жизни активна!

Прикатившим на сессию заочницам срочно понадобился мужчина, чтобы помочь донести холодильник, взятый «напрокат». Мы мирно сидели за столом и пили чай, обильно намазывая на хлеб маргарин «Солнышко». В дверном проеме, заставив всех живо встрепенуться, появилась темноволосая красотка с голубыми глазами. Обращение, тем не менее, было адресовано ко мне, видимо, как самому недовольному (после разлада с «серой мышью» я некоторое время общался с девушками далеко не самым изысканным манером). Ее энергичная просьба органично перешла в милую улыбку чувственных губ с блеском здоровых крепких зубов. На фоне приглашенных худосочных ее однокашников, героически схватившихся за углы холодильника, я выглядел былинным богатырем, скромно ухватив оба угла спереди. Пять пройденных этажей стоили весомой благодарности.

Холодильник умиротворенно урчит. Обильное, по нашим меркам, угощение. Сразу видно: только что приехавшие из дома, работающие люди... «Шурик, попробуй это – Шурик, попробуй то». В непринужденности и легкости манер ощущается воспитанность и опыт. Чувственность и утонченность на грани нервного срыва. Мне интересно, но нелегко с ней, хотя по мере «усугубления» – все проще и проще.

Перед завершением застолья мои товарищи по комнате были оперативно расселены и невесело разбредались по разным углам. Мы с Милой были так заняты друг другом, что даже забыли закрыться на ключ...

Каждое мгновение она была разной: веселой, ироничной до ядовитости, смешной, раздражительной. Была очень живой, текущей. В небрежном откровении и сарказме чувствовалась глубина пережитого, и мною угадывался опыт постигшего ее страдания.

После школы она поступила в медицинский институт Ленинграда. На третьем курсе, обнаружив в себе уже готового гинеколога, они с подругой поднааторели в производстве криминальных абортов. Не знаю, может быть официальные были запрещены? Необоснованная самонадеянность. Трагические последствия. Мрачные «Кресты». Четыре года общего режима. Вселенский закон противодействия вступил в силу и призван был к осознанию собственных ошибок, грехов молодости. Но было ли оно, осознание? Пройдя «университеты» и вернувшись домой, Мила пыталась жить «как люди», т. е. серо, буднично, лживо. Вышла замуж, родила дочь, поступила в институт на строительный факультет. Здесь «всплывает» какой-то Ленинградский друг Тритенбройт.

– Представляешь, умница, хитрый жидяра, хохмач. Кандидат наук. Денег – как у дурака фантиков! Старый друг. Предложил мне поехать в экспедицию в Узбекистан, в качестве жены.

Ну, Тритен – есть Тритен, оболтал меня, как девочку. Я с мужем распрощалась, мол, на сессию уезжаю, а сама с Тритенбройтом к узбекам укатила. Провели время – лучше не придумаешь! Есть что вспомнить!

– Муж, конечно, вычислил?

– Да уж, он вычислит! Как-то подарил мне духи на восьмое марта. «Пикантные» назывались. Так себе, ниже среднего. Приходят гости. Я, естественно, воспользовалась из старых запасов незабвенного Тритена – «Клима». Гости с ума сходят, особенно бабы: «Какие у тебя духи?! Французские, поди?» А муж так тупо-самодовольно всем поясняет: «Это мои, «Пикантные», – Мила нервно рассмеялась, вспоминая забавный эпизод. Я, от солидарности с мужем и уязвленный его дурацким положением, напряженно улыбнулся.

– А ты говоришь, вычислил! Сама призналась, что рога ему наставила! Поругались как-то, и призналась, чтобы больнее сделать. Зря, конечно. Сейчас проблем было бы меньше. Ее голубые очаровательные глаза при этом беспокойно сверкнули.

Лежа на кровати, я курил «Беломор», стряхивая пепел в консервную банку от «Завтрака туриста». В комнату уже вползли сумерки, а через стенку щемило битловское: «Мишел...»

Как легко и бессовестно она рассказывает, нет, даже похвально своими проделками. И это после того, что уже было пережито? Она патологически эгоистична. Казалось бы, должна держаться за мужа. Жить по совести. И ребенок вот... Нет. Сроду бы не женился на такой! Я с грустью вспоминал ее «веселые рассказы», так задевшие меня, от которых становилось тошно.

На следующий день мы отправились с подругой в парк, что начинался сразу от общежития. Намерения были самые невинные: заниматься предметами на свежем воздухе. Солнце было уже высоко, и парк был напоен ароматом сосен и молодыми голосами таких же умников, как мы. Как и предполагалось, попытки что-то подучить, повторить, запомнить, сразу были обречены. Мы нежились на солнце и лениво болтали. Она читала Цветаеву или рассказывала о душевных муках лагерных подруг. Я внимал и был пьян осознанием Божественного мира, прекрасной женщины, лежащей рядом, звуков поэзии, запахов начинающегося лета... Потом случилась гроза. Внезапная, майская, сумасшедшая. Бежать было бесполезно, да и не нужно. Грохотал гром, и блики молний озаряли наши лица неземным, холодным светом. Мы шли босиком вначале по еще теплой тропинке, а затем по дождевым ручьям, несущимся по тротуарам. Ее волосы змеились множеством темных колечек. Было сладко и жутковато целоваться под соснами...

Мила была Женщиной. Красивой и изящной, а главное, тонко чувствующей. Она могла быть украшением как любого общества, так и сильного мужчины, способного вовремя остановить ее. Любая женщина чувствует свою силу и готовность в какой-то степени уступить.

– Для женщины нужна узда, – авторитетно заявляла она. И снисходя до меня, то по-деревенски кондового, то поэтически возбужденного, подбадривала, заставляя быть более решительным в предложениях: «Я – простая баба. Ничего сложного!» – Возможно, это была правда.

По ее приглашению я нанес визит в город К., в ее шикарную трехкомнатную квартиру, впечатлявшую после общежитских клоповников. Мне было приятно видеть опрятность и порядок во всем. Это было мое слабое место. Мила весело болтала и играла на пианино трогательную французскую песенку «Падают листья» в качестве вступления к серьезному объяснению. Потом мы пили принесенное мной шампанское и слушали АББУ. Зеленый самопальный диск, тонкий до беспокойства за его качество, шел волной и коробился, но, тем не менее, устойчиво производил: «Мани-мани – мани-и...» Эта песенка окончательно привела меня в ступор и вызвала внутреннюю дрожь. Мила сначала спокойно спросила меня:

– Что ты молчишь? Тебе нравится? По моему – замечательно.

Я напряженно кивнул. Мне вспомнился ее униженный муж, и я робко запросился домой. Глядя на мою окаменевшую фигуру и остро ощущая возникшую безнадежность, Мила, уже с отчаянием в голосе закричала: «Что ты молчишь!?»

Мы пару раз встречались после этого, но заключительный аккорд уже прозвучал.

* * *

Что я собою представлял, вступая в мир, который позднее назовут «эпохой застоя»?

Спорт и труд сделали из меня здорового и крепкого мужчину. Я был далек от изящества, за то «завален внутренними достоинствами». Во мне всегда находили трудолюбие, честность, основательность и целесообразность, вероятно, то, что перешло ко мне от матери-немки, хотя внешне я более походил на деревенского увальня. Природа когда-то спохватилась, обнаружив пропадавшего дохлика-зяблика, которого не брали даже в детсад, вдохнув в меня силу и терпение, оставив прежней душу. Душу робкого и нерешительного человека – «Lupus pilum mutat non mentem».⁸ Крайне противоречивого, застенчивого и закомплексованного. Студенчество кое-как сгладило эти углы, разболтав и ослабив при этом волю. Возвращенный в уродливой по духу семье, в уродливом же по духу лживом государстве, я обладал полным набором дурных черт характера: эгоизмом, гордыней, авторитарностью, то немецкой расчетливостью до скупости, то казацкой бесшабашностью, то застенчивостью, принимаемой за интеллигентность, то пьяной агрессивностью. К тому же я был очень раним и ядовито саркастичен. Рано осознанная ненависть к коммунистам и советской власти, на фоне ее несокрушимости и вечности, постепенно перерастала в мизантропию. Окружавшие меня люди, как мне казалось, невзирая на существо режима, только и озабочены были достижением «кормушки» и удовлетворением своих низменных страстишек, что вызывало у меня раздражение и презрение к ним. Пережитый любовный опыт не возвысил сердце, а, скорее, посеял в нем семена пренебрежения к женщине.

С большим усердием и старанием я искал, как мне казалось, гармонию в жизни, совершенство и чистоту, и оттого, что все эти потуги приводили лишь к страданию и ощущению собственной вины – я не мог быть целостным и гармоничным.

Тогда я еще не понимал и не мог понять в силу существовавшего в обществе безбожия и отрицания всяческих духовных знаний, идущих в разрез с доминирующей куцей коммунистической моралью, что при существовавшем моем мировоззрении я обречен на «лечение» души, которое неизбежно состоится через страдание.

⁸ (лат.) Волк может сменить шкуру, но не душу.

Глава 3

Александр распределился преподавателем электродисциплин в техникум рабочего поселка, где когда-то жил сам, и где проживали в здравии его родители. По сути, это было время продолжения его студенчества: те же лекции, семинары, экзамены, многозначительные лица провинциальных преподавателей...

День учителя ожидался в ближайшее воскресенье, сразу же после картофельной страды – ежегодного «трудового подвига» всех советских студентов.

Не зная преподавателей, Клинцов отрешенно сидел в дальнем конце стола и без особого интереса оглядывал «педагогический состав», возбужденно галдевший в предвкушении застолья. С пятнадцатиминутным опозданием, как принято в деревенских традициях, появился преподаватель немецкого языка Мисюра с супругой. Сверкая лучезарной улыбкой и отпуская шуточки направо и налево, он двинулся к свободным местам «галерки», где одиноко томился Клинцов. Прицепом к устраивающимся Мисюрам подстроилась вскочившая со своего места преподаватель спецдисциплин Елена, которая, оценив ситуацию, приступила к тактическим маневрам.

Она уже работала в техникуме два года, окончив технический ВУЗ, и прекрасно знала, «кто чем дышит». Завязавшийся было роман с Валерием Павловичем – романтическим и экзальтированным преподавателем механики – быстро закончился, оставив в душе горькие разочарования.

Ее отношения с Мисюрой начались относительно недавно. Высокий и стройный красавец Мисюра был женат в некотором роде, однако этот факт никак не сказывался на его отношениях с женщинами. Он щедро дарил им свое тело. Более того, он был достаточно эрудирован и просвещен. Прожив до института в небольшом селе, как и многие деревенские жители, не от злого сердца, а скорее из-за низкой культуры, Александр готов был высмеять любого. Желчная ирония с милой улыбкой и высокое самомнение о собственной персоне причудливо уживались с лоском поселкового интеллигента. Елену он заметил и принял за свою, когда в учительской бурно обсуждался фильм Михалкова «Раба любви». Оппонентами выступали парторг – преподаватель литературы Галина Данильченко и ее товарищ по партии, предпенсионный физик Сашин. Елена весьма аргументированно доказывала художественную ценность картины, а Мисюра страстно обвинял Сашина и Данильченко в мещанстве и замшелости. Партийка отчаянно жестикулировала, как на трибуне, и говорила об отходе от соцреализма. В заключение же примирительно выдала:

– Ну что ж, если вы такие *кинологи*, дальнейший разговор считаю бесполезным. Вы не понимаете, что всякий фильм в первую очередь должен воспитывать, а не душить зрителя «ароматами» артистической богемы.

«Кинологи» переглянулись, удержавшись от хохота, и с этого времени с большим удовольствием обменивались впечатлениями о новом вышедшем фильме, книге, статье.

Люди с обширным кругозором должны сидеть рядом! Кто ж мог знать, что «ценитель прекрасного» еще вчера восторгался ее южным загаром. Теперь перед Александром, почти напротив, сидел Мисюра со «своими» женщинами. Леночка, «случайно» оказавшись в удобном ракурсе к новенькому – терпеливо позволяла себя разглядывать.

Веселье быстро разлилось по столам и стаканам, и приглашенная на танец Елена, уже с удивительным упорством никого не замечая, подставляла свои пухлые губки Клинцову.

– Какой ты... чистый, – оценивающе заключила она, демонстрируя при этом такую неожиданную в этих стенах легкость поведения.

Впечатляющая доступность девушки весьма удивила и заинтересовала его. Она хладнокровно пренебрегала убогими нормами общественной морали и была далека от дешевого кокетства.

– Может, пойдем на свежий воздух?

– Ну-у-у, пойдем. Жди меня у выхода. Я только перекурю.

И они пошли. Осенний вечер был тих, а плотный, сырой воздух отдавал тополиной прелью. Разгоряченная девушка развязно болтала, по-свойски подцепив Александра под руку. Оценив обстановку и не желая никоим образом воспользоваться слабостью женщины, он решил проводить ее до общежития молодых специалистов, где, как он полагал, она проживает. Леночка неверным шагом шла со своим новым другом, не задавая лишних вопросов «Куда?» и «Зачем?» – очевидно, она была выше таких мелочных условностей. Перед огромной лужей на их пути Клинцов лихо взял девушку на руки, показав этим, что не чужд гусарской широты, похлопав по луже, «яко по суху» в своих новых туфлях.

– Ну, вот и приплыли, – выдохнул Александр.

– Ты что, здесь живешь?

– Я думал, ты здесь живешь! – удивился парень.

– Не-е-т. Я живу в общежитии техникума, но туда мы видимо не пойдем. А ты где живешь? – без особой дипломатии намекнула Леночка.

– Я-то живу в доме с родителями, – задумчиво ответил он. – Ну, пойдем обратно, к техникуму.

– А в каком ты доме живешь, в одноэтажном? Фи, я в двухэтажном. С родителями... А вот у меня нет папочки, – пьяно-слезливо пробормотала девушка. – Мы с мамочкой живем... Мой папа, между прочим, с отличием окончил юридический институт и работал у нас в городе помощником прокурора, – с гордостью выдала она. – Ну, потом, правда спился... и его мама увезла от нас в родной Бу-зу-лук. Вот так!

Дорога к техникуму теперь вела через стадион, вдоль аллеи голых грустных берез, тихо шумевших под неласковым осенним ветром.

– Куда мы идем? Опять к техникуму, что ли? – недоуменно воскликнула девушка и подумала: «Какой он несмелый! Другой бы давно в койку затащил! А мы все бродим, непонятно где, как пионеры! – И сказав, страстно припала к его губам, дабы придать его мыслям правильное направление.

Целиком отдавшись поцелую, парочка и не заметила, как их обошла затихшая вдруг толпа преподавателей, возвращавшихся с праздника.

– Какая гадость! – вслух прошептала парторг Данильченко. И до самого дома толпа была вовлечена ею в дискуссию «о современном падении нравов и роли преподавателя, как личности».

В понедельник, после бурного окончания «Дня учителя», Клинцов с тяжелым сердцем ожидал встречи с новой знакомой. Его мучили и стыд, и брезгливость за столь натуральную оргию, которой закончилась их встреча и, к которой изначально, с таким упорством шла Леночка. Он пытался успокаивать себя тем, что всего лишь «чинно и благородно» хотел проводить девушку до дома и что она сама... Но как-то не вязался его «тургеневский Баден-Баден» с реалиями современности. Слишком неустойчивым оказался он перед слабостью девушки.

Александр густо покраснел, увидев ее, выходящей их гардеробной. Леночка же, вопреки ожиданиям, открыто и весело смотрела на вчерашнего любовника, не забывая время от времени, дразнить его язычком по своим алым губкам.

– Ну, ты как? Все нормально? – банально поинтересовался Клинцов.

– А что может быть ненормально? Все хорошо!

– Дошла до дома без приключений? Ты ведь не захотела, чтобы я тебя проводил после того как...?

– Я не помню никаких «после того», – засмеялась девушка, легко освобождаясь от причин рефлексии.

Такая легкость нравов поразила парня. Он-то любил пострадать и помучиться! «Да, может быть и так, – пронеслось в голове, – Хочешь быть чистым – значит нужно им быть! А что сейчас-то сопли-то распускать, *post factum*!? Правильно девочка поступает. Не омрачает себе жизнь, в отличие от тебя, а то еще кожа прыщиками пойдет!»

– Ты на пару? – уже спокойно и доброжелательно полюбопытствовал он.

– Да. У меня сегодня их три и вечерники.

– А... У меня тоже сегодня вечерники. Наши кабинеты рядом! Ну, пока! До встречи!

На переменах молодые люди выходили из своих кабинетов и, подойдя к окну коридорного «кармана», с удовольствием болтали, забывая обо всем.

– Так это вон то общежитие? – спросил как-то Александр, – указывая через окно на ближайшее к техникуму здание.

– Ну да. Вообще-то оно для студентов, а из преподавателей только я живу. Вон мое окно на третьем этаже. Раньше веселее было, рядом – твоя предшественница жила. Тоже преподавала электроспецдисциплины. «Электричка», одним словом. Скучновато. Иногда к подруге хожу. Вместе распределились. Из одной группы. Там живет... где ты по лужам шлепал на день учителя. Помнишь?

– Было дело! – с улыбкой сказал Александр, – всматриваясь в окно на третьем этаже.

– Магнитное поле, вектор магнитной индукции которого вращается в пространстве с постоянной частотой, называется вращающимся магнитным полем, – без особого энтузиазма читал вечерникам Клинцов.

– Бехлер! Будьте так любезны, найдите нам вектор магнитной индукции в статорной обмотке и покажите, как он изменяется.

Худой рыжий и горбоносый Бехлер, словно сошедший с полотен мастеров средневековья, обреченно двинулся к плакату, висевшему на доске, искать неведомый вектор магнитной индукции.

В это мгновенье Клинцов мельком взглянул в темноту ночи за окном и оцепенел: в заветном окне на третьем этаже Леночка вдруг ни с того, ни с сего освободила окна комнаты от портьер, словно в затихшем театральном зале раздвинулся занавес и ожидаемый спектакль на возникшей, ярко освещенной сцене, обещал множество эстетических наслаждений. И, раздвинув их, романтически замерла в ожидании, на фоне яркого электрического света. «Занавес открыт. Спектакль начался. Не опоздать бы к первому акту!» – цинично пронеслось в голове Александра.

С вектором было покончено, как с безграмотностью – быстро и решительно, и, закипающий от радости близкой встречи преподаватель, уже записывал домашнее задание на доске...

Через восемь минут, смущенно улыбаясь, он уже входил в «чертог богемы». В чертоге было по-чертогски хаотично и неудобно. Множество пустых пачек от сигарет валялось где попало; немытая посуда неряшливо и холодно притаилась в углу на подоконнике; обе кровати были небрежно покрыты казенными одеялами, что живо напомнило недавний студенческий быт. Многочисленные журналы и газеты были разбросаны и на полу и на кровати, безмолвно подтверждая свою доминирующую роль в запросах хозяйки. Скомканные фантики от конфет и разодранные обертки из под шоколада пестрым разноцветьем оживляли скучный интерьер. На полу, у ножки стола, притихли две немытые бутылки из под кефира в компании с пустой бутылкой из под водки. Обгорелая парафиновая свеча в поллитровой банке, центрированная

наспех скомканной газетой, одиноко белела на столе; рядом с ней покоились останки сгоревших спичек и банка из-под сгущенного молока, доверху заполненная окурками...

Сердце носителя немецкой «голубой» крови сжалось от увиденного: в девичьих комнатах общежитий, где ему доводилось бывать – такого встречать не приходилось. «Полуфриц» ошарашенно и глупо улыбался, заробев от буйства возникших декораций.

– Ну! Что ты растерялся? Проходи! – добродушно встретила Елена, задергивая «оконный занавес» и мелькая голыми ногами из-под коротенького фланелевого халатика.

– Чай поставить?

– Да, пожалуй, поставь!

За чаепитием, непринужденно болтая, Елена стала показывать Александру фотографии своих друзей и подруг. Их было много, и они не вызывали особого интереса у парня. Зато девушка перебирала коллекцию с явным удовольствием.

– А вот этого, – указывая пальчиком на тупую физиономию парня в военной форме, – испортили девочки.

– И как же они его испортили, злодейки?

Ответа Александр не узнал, так как в комнату настойчиво постучали. Через мгновение, по хозяйски уверенно, вошел стройный и ироничный Александр Мисюра, дежуривший в этот вечер по общежитию. Обнаружив «свое» место занятым, недовольно хмыкнул:

– Ну что, голуби, снюхались уже без меня?

– Если снюхались – то не голуби, а если уж голуби – то не снюхались, – не претендуя на остроу фразы, безразлично ответил Клинцов.

– А-а-а! – отмахнулся Мисюра.

Он весь ушел в себя и сосредоточенно, несмотря на радушную болтовню коллег, с нелепой застывшей улыбкой кивал головой. Наконец энергично поднявшись, весело произнес:

– На свадьбу-то пригласите?

– Да мы как-то... – сконфуженно пожав плечами, промямлил Александр.

– А ты подумай! Леночка у нас уважаемый человек в коллективе! Какому-нибудь первому встречному чуваку мы ее не отдадим!

– Ты на меня намекаешь!?! – запальчиво произнес, сделавшись вдруг агрессивным, Клинцов.

– Я ни на кого не намекаю, – Мисюра снисходительно и понимающе улыбнулся, – я просто желаю вам добрых, серьезных отношений.

Елена в этот вечер была особенно нежна, интуитивно ощутив в Александре родственного по духу мужчину, за которого стоит побороться, поставив для себя цель довести его до полной капитуляции.

В самый неподходящий момент свеча, торчавшая в банке, (электричество, для «интима» было благоразумно отключено. Провинциальный вечер при свечах!) вдруг упала набок, и обернутая вокруг нее газета вспыхнула!

– Вот так случаются пожары! – назидательно и недовольно бурчал вскочивший Клинцов, гася огонь подвернувшейся пустой пачкой из-под сигарет. – А впрочем, это, очевидно, какой-то знак. Вот так вот просто взять упасть и загореться! Да-а-а...

Позднее, лежа в благостном умиротворении, они дымили с Еленой сигаретами и лениво переговаривались. От него последовало сакраментальное:

– У тебя было много мужчин?

– Да были, – нарочито весело и беззаботно отвечала она.

– Ты не ответила.

Девушка игриво состроила серьезную физиономию и сделала вид, что напряженно подсчитывает, загибая пальцы сначала на одной руке, потом на другой...

– Ну, были, были, – бросив подсчет, последовало легко и по-детски мило.

Александр подыгрывал подруге, непринужденно улыбаясь, однако настроение после такого интригующего ответа обреченно покатилося к нулю. Внутри зарождалось нечто тяжелое и больное.

– И здесь, в техникуме, были?

Леночка кивнула головкой и капризно надула губки, что должно было означать ее недовольство текущим моментом. Легкомысленные ужимки, надо сказать, Леночке очень не шли. В силу отягощенности интеллектом, ей всегда не удавалась роль пустышкой девочки, но, по молодости, она все же пыталась иногда себя так подать.

– И кто же? – не унимался парень.

Девушка вдруг задумалась на мгновение и, вызывая к снисхождению, произнесла:

– Ну, Саш! Ну, все! Давай закончим эту тему! Ты идешь завтра на демонстрацию?

– А что, можно не идти? У нас из ВУЗа грозились отчислить за неявку на это позорное шествие.

– А что так мрачно!? Позорное... День Октябрьской революции! Кругом красные флаги, марши – хороший праздник!

– Я так не думаю! – упрямо отрезал Клинецов. – Ну, я побрел домой! Завтра увидимся на этом шабаше!

Скрипя молодым снежком, с затертым студенческим портфелем в руке, Александр неспешно брел по темным улицам поселка. В голове снова и снова прокручивались откровения Лены, заполняя сердце горечью и досадой. Как всегда, тяжелые мысли стали притягивать себе подобные. Он вспомнил свой смешной и нелепый конфликт с парторгом техникума Данильченко. Как быстро она «раскусила» его «политическую ориентацию»!

Дело в том, что он решительно отказывался платить деньги в какие – то постоянно бедствующие фонды и общества. Отказывался сам и тем более не стал собирать их, как это было заведено, у студентов. Естественно, не от того, что ему было жалко копеек, а потому, что находил это лживым и гадким проявлением социализма, а сбор у студентов к тому же и унижительным для себя; затем, когда Данильченко предупредила всех преподавателей о необходимости оформления своих рабочих кабинетов к очередной годовщине революции, Клинецов не нашел нужным «вновь рисовать всю эту красную чехарду» и приказал своим архаровцам с четвертого курса принести из подвала старый, но добротный исполненный стенд с вождем и громкими результатами пятилеток, исправив лишь указанный на «картине» год – на текущий. Ребята, не намного отличавшиеся от него по возрасту, сущие нигилисты по духу, с пониманием и радостью выполнили это поручение, пришпандорив стенд у входа и нетерпеливо ожидая реакции коммунистов. Это был бунт в тихой педагогической заводи!

Сначала о «растленном влиянии на молодежь» пронюхала Данильченко, а потом и тяжелой походкой притащился старый ленинец – директор. Он долго брызгал слюной, поражаясь легкомысленности новоиспеченного преподавателя и тыча пальцем то в вождя, то в солдат, штурмующих Зимний. Будучи опытным педагогом, студентов он отпустил, не дав им насладиться «кипением своего возмущенного разума». На ближайшем педсовете решено было заслушать молодого бунтаря. В повестке педсовета, кроме основного пункта «Подготовка к празднованию Октябрьской социалистической революции» значилось и его «дело», ПОКА (ударение на «пока» сделала Данильченко) включенное в пункт «Разное».

На педсовете Александр чувствовал себя неважно. Во-первых – по причине своей «гордой застенчивости». Педагоги все сплошь солидные люди, а он, сам вчерашний студент, работает лишь второй месяц. Во-вторых, он с грустью понимал что «кнутом палки не перешибешь», и его «позиция» выглядит как-то смешно, ребячески. В голове время от времени проносились обрывки песни Галича о товарище Паромоновой: «... Первый вопрос у них – свобода Африке, а второй уж про меня, в части «Разное»...» и это усугубляло дурашливое настроение. «... А как вызвали меня, я сник от робости, а из зала кричат: «Давай подробности!» Смирненно

признав свои ошибки, Александр пообещал уважаемым людям «Больше не отвлекать их от дел подобной чепухой!» Сказал и осекся, взглянув на разгневанную Данильченко. Та вскочила и затрещала: «Это не чепуха, товарищ Клинцов! Это политическая недоразвитость, а проще говоря, инфантильность!» Она еще долго бичевала эти проявления политической незрелости. Клинцов понимающе и с участием, согласно кивал головой...

Его забавляла игра с красной приспособленкой, ее энергичное отстаивание партийных «прЫнципов», лживость и стремление к власти.

* * *

Распрощавшись с Александром, Елена вновь прыгнула под одеяло, находясь в радостном возбуждении от случившегося и трепетно ощущая начало чего-то значительного, светлого, долгожданного, обещавшего резкие изменения в ее жизни. Как всегда, когда умиротворенное тепло охватывало ее душу, ей вспомнился родной, любимый городок на Урале; почерневший от старости отчий дом, бабушка, близкие... Она словно делилась с ними своей радостью, своим обретением, вновь родившейся мечтой.

Старинный русский город на Урале. Известные всему городу добротные Благовские дома, стоящие на Сибирском тракте: один деревянный, почерневший, изъеденный ветрами до прожилок, мастерски срубленный чуть не два века назад из лиственницы, и рядом классический, каменный двухэтажный, – были приобретены преуспевающим предпринимателем Романом Благовым для двух своих сыновей. В каменном, еще в 1826 году, останавливалась по пути следования мужа по Сибирскому тракту княгиня Волконская.

Совдепия, искромсав внутренности дома, устроила там *шестнадцать* квартир, заселив их деревенским, низкопородным и пьяным людом. И только музейные экспонаты вскользь напоминали о земском враче и уездном предводителе Петре Романовиче Благове, жившем *вдвоем* с супругой в этом славном доме.

В деревянном доме жили три семьи. Так случилось, по иронии судьбы, что истинные потомки этого уважаемого рода занимали лишь пару комнаток полуподвального помещения для прислуги, а люди, далекие от магистральной Благовской линии, заселяли бельэтаж.

В начале лета 1912 года в женской гимназии уездного города проходил выпускной бал. Событие для купеческого города немалое. И дочерей показать во всей красе, и собственное положение подчеркнуть. Михаилу Романовичу Благову, известному и уважаемому в городе, а тем паче родному брату уездного предводителя дворянства, краснеть за дочь не приходилось: высокая и статная, нордического склада, обаятельная Шурочка закончила курс круглой отличницей и при неоспоримых собственных достоинствах имела весьма значительные материальные перспективы.

Бал по местным меркам был великолепен – купцы и немногие дворяне на такого рода увеселения денег не жалели. Раскрасневшиеся барышни вальсировали и весело щебетали. Преисполненные достоинства родители были учтивы и благодушны. Местный фотограф Вонненберг был вездесущ и предупредителен, угадывая малейшее желание. Позднее на карточке Шурочки, снятой в окружении своих лучших подруг, каллиграфическим подчерком будет написано: «Школьные годы, веселые дни, как вешние воды промчались они». К окончанию торжества, подчеркивая высокий статус родителя, для нее будет подана карета, невзирая на то, что до дома и пятисот метров – то нет. Весь мир для Александры Михайловны, как этот теплый летний вечер, был ласков и загадочен, а утро обещало быть ясным и благодатным.

Деревенская школа, куда Александра попала, влекомая гражданским и нравственным долгом «нести свет в сердца людей», с ее послушными и прилежными деревенскими учениками, встретила вчерашнюю гимназистку достойно. Уральские деревни в те времена были

крепкими, а люди трудолюбивыми, толковыми и открытыми. Бедными были только ленивые и, как правило, пьяные люди, которых природа не одарила жизненной энергией. Были и «наказанные»: погорельцы или потерявшие кормильца. Этим помогали люди.

Возлюбленным, а потом и мужем для Шурочки, явился огромного роста, с шапкой рыжих кудрей «кольцо в кольцо», похожий на финна, дьякон Серофим. Отец и дед Серофима были священниками, а сам он окончил Екатеринбургское духовное училище. Несмотря на его могучее телосложение и грубоватые, хотя и мягкие черты – был он чрезвычайно добр и даже застенчив, а в быту покладист и миролюбив.

Течение жизни молодой семьи было неспешным, здоровым и светлым, имеющим под собой твердое основание веры и здравого смысла, замешанного на старинном русском укладе.

Дочь Елизавета родилась за месяц до прихода к власти большевиков. Ее родители уже осознавали ужас приближающейся катастрофы, которая вмиг все ее наследуемые богатства, материальные и духовные, естественные при эволюционном развитии общества, превратит в недостатки, проклятие, клеймо, а достоинства и честь рода своего нужно будет скрывать, иначе за этим последуют плевки и удары вчерашних рабов.

Красная вакханалия началась в восемнадцатом. Какие-то «Красные орлы», набранные из сельского отребья и рабочих пьянчуг. Многочисленные «борцы за свободу». Грабежи. Насилия. Расстрелы. Попранные устои и честь. Молодая семья отца Серофима делает попытку уехать в Омск, под крыло А.В.Колчака – неудачно. Жизнь, полная ужасов и лишений. Один брат Александры Михайловны погиб на германском фронте, второго вскоре репрессировали. Самого отца Серофима слякотной осенней ночью тридцать седьмого арестовали, набив при этом шесть мешков золотой и серебряной утвари, не утруждая себя составлением каких-либо бумаг. «Экспроприацию» энкавэдэшники проводили тщательно и с удовольствием, что ничуть не отличало их от грабителей с большой дороги.

Постаревшая Александра с дочерью Елизаветой и сестрой Ольгой остались одни, «уплотненные» «восставшим гегемоном» до двух комнаток в полуподвале родного дома.

Ее муж уже давно был унижен и расстрелян, а надежда, рожденная дьявольским изобретением коммунистов «без права переписки», – все жила, не позволяя внутренне расстаться, молиться «за упокой».

Елизавету природа одарила статностью и здоровьем, тем шармом молодой девушки, который являлся в тридцатые годы эталоном женской красоты, и заставлял мужчин произвольно оборачиваться вслед. Однако, к злорадному шипению «поповская дочь» в двадцать лет добавилось и более ядовитое: «дочь врага народа». Будучи по природе человеком добрым и открытым, она делала все, чтобы не раздражать очень чувствительных к происхождению и «чистоте рядов» пролетариев, все более превращаясь в безропотную, как и подавляющее большинство, «рабочую скотинку». Впрочем, мир не был так трагичен, если учесть ее популярность среди мужской части города. В их лживом заискивании, бесконечных комплиментах и любовных интригах она не чувствовала себя униженной и лишенной, а сакраментальный омут кинематографа, в который она с наслаждением погружалась время от времени, рождал в собственных глазах актрису, чуждую окружавшего ее мира грубости и бескультурия. Она выросла, оставаясь ребенком.

Первый брак обещал быть благополучным: он – офицер Красной армии, не побоявшийся взять «дочь врага народа». Сына Елизавета рожала уже без отца, который в это время воевал на фронте.

Было ли – не было, однако в те времена ломали людские судьбы без труда, даром что злость и зависть в новом российском обществе расцветала махровым цветом на навозной почве «равенства» и «классовой бдительности». Прошедший всю войну фронтовик не вернулся к Елизавете, оскорбленный лакейскими доносами о ее неверности.

Второй брак и браком-то нельзя было назвать, настолько он был абсурден. Артистическая внешность нового кандидата в мужья приводила Елизавету в расслабленное, умильтельное состояние. Вот он, герой ее киношных исканий! На фоне послевоенного безмужичья и окопной грубости этот красавчик, хоть и младше ее на девять лет, вел себя переливчатым петушком на птичьем дворе вдов и молодок. Опынение жизнью для него, единственного сына заслуженного фронтового врача, с отличием окончившего юридический факультет, «души» компаний, перманентно переходящих одна в другую, быстро превратилось в реальное беспробудное опынение. Не проработав и года помощником прокурора по месту своего распределения, он с такой скоростью стал пикировать вниз, что вскоре оказался в придорожной канаве. Несмотря на это, он успел создать видимость благородного намерения создать семью. И хотя трезво мыслящая Александра Михайловна моментально оценила бесперспективность таких намерений, она ничего не могла поделать с разгоревшейся страстью дочери. Елизавета не захотела согласиться с доктриной матери «Лучше никакого, чем такой» – слишком болезненными были прошедшие годы одиночества, и, по легкомыслию или с отчаяния, пригрела на своей пышной груди забубенную голову несостоявшегося прокурора.

Плод сладострастия нарушил своим криком провинциальную тишину захолустного роддома в то время, когда славный родитель находился на излечении от алкогольной зависимости. С этих пор пребывание в наркологических клиниках станет его основным занятием. Дочь назвали Ларисой. Через пару лет, как доказательство успехов Советской власти в борьбе с «недостойными пережитками старого строя» (абортами), появляется на свет и Леночка, которую наш пострел успел зачать между пребываниями в стационарах.

Непросыхающая «душа компании» чувствовал себя звездным гастролером в провинциальном городке и потому так легко, походя, позволил себе завести двух детей. Его не трогала низменная тема зарабатывания денег, а между тем семейный бюджет Благowych был более чем ограничен. Крохотная епархиальная пенсия, которую получала за мужа Александра Михайловна, да весьма скромная зарплата служащего бухгалтера-расчетчика, получаемая Елизаветой. Выручали алименты бывшего мужа-фронтовика. Да и то сказать: нужно было растить троих детей.

Тащить весь непомерный груз пришлось Александре Михайловне. И хотя поначалу войдя в семейную жизнь, она много не знала и не умела – не для такой судьбы готовилась, благодаря уму и энергии, умению ладить с людьми, глубоко уважавшими ее как «матушку», а главное, жестокой необходимости выживания, где все зависело только от нее, – домашнее хозяйство было взято в умелые руки. Никто и знать не знал, откуда что берется. Она договаривалась, нанимала рабочих, ходила на школьные собрания, перелицовывала и перешивала, готовила и стирала, топила печь и пекла шаньги. Делала все, чтобы внуки и ее дочь не чувствовали какой-либо ущербности, обделенности судьбой. В атмосфере высокой личной ответственности, присущей многим православным женщинам дореволюционной поры жертвенности и духовности незаметно было то, что и не должно было быть главным: быт и связанные с ним отношения.

Впрочем, эта ее готовность прикрыть собой дочь и особенно внушек, от враждебного ей совдеповского мира, не дать им погрузиться в заботы о пропитании; мелочный советский быт; унижительные «дровяные» дразги с соседями – была чрезмерной, даже вызывающей и недальновидной. Она одна хотела противостоять новому укладу жизни, находя в тайном противоборстве удовлетворение сильной, несломленной натуры. Был сотворен мирок «как было у нас». В нем, как только возможно, несмотря на окружающую вакханалию лжи и насилия, творился дух любви и добра. В чем-то это было оправдано, в чем-то нет.

Бывало, покормив грудью ребенка, Елизавета возвращала его без каких-либо нежностей и сантиментов в надежные руки своей матери, оправдываясь большой занятостью. Подраставшие девочки не ведали ни особого внимания от матери, ни малейших забот по хозяйству: будь

то хотя бы мытье полов или посуды. Вверенные в крепкие руки советских педагогов и воспитателей в группе продленного дня – они отлично учились и активно проводили досуг: разгадывая ребусы, кроссворды, с уверенным чувством победителя участвуя в конкурсах, викторинах и розыгрышах. Дом пионеров стал для них на многие годы самым продуктивным и веселым местом раскрытия своих многочисленных талантов.

После четырех лет мытарств, в течение которых отец-воспитатель появлялся в семье все реже и не в том состоянии, чтобы быть кому-то нужным; после смерти от фронтовых ран его собственного отца – положение семьи стало катастрофическим. Безвольная Елизавета не в состоянии была принять сильное решение. Тогда, под давлением Александры Михайловны, семейный корабль освободился наконец от тяжелого балласта: полудеградировавшего Георгия увезла на родину его мать. Там, в степном Бузулуке, в очередном наркодиспансере, больной и никому не нужный, окончил свои дни когда-то блиставший Георгий Венецевский.

Елизавета вновь осталась одна. Муж «растаял в тумане дымкою», легкомысленно увеличив ее семью на два человека, хотевших есть, одеваться, желавших тепла и внимания, нуждающихся в поддержке и защите. Казалось бы, банальная логика выживания потребует от одинокой матери, имеющей на содержании троих детей, повышенной концентрации и напряжения, терпения и жертвенности, но... Возраст, как застоявшийся конь, вдруг понесся сломя голову... и замелькало: сорок один, сорок два, сорок три... А тело еще так свежо! Сердце так обмануто высокой ложью кинематографа, людьми, временем войн и разрух и еще так жаждет любви...

Несмотря ни на что, природа одарила Леночку множеством талантов, основой которых был здоровый аналитический ум. Да чего там, она и читать-то научилась самостоятельно, в трехлетнем возрасте! И не по букварю, как большинство нормальных детей, а... по газетам!

Нежной материнской любви, особенно востребованной в раннем и хрупком переходном возрасте не было, как собственно, не было и позднее. Вместо этого были «группа продленного дня» и Дом пионеров – с одного берега, и любимая бабушка со своей сестрой с другого.

Любое тоталитарное государство озабочено усилением своего влияния на подрастающее поколение. Чем полнее это влияние, тем увереннее грядущее этого государства. При этом, как считалось, влияние семьи как культурного социума должно быть минимальным. Девчонки, детство которых проходило под определяющей доктриной: «Только учитесь девочки!» – были просто подарком для советской власти. Лишенные каких-либо забот по дому (бабушкино, ностальгическое: «чтобы было как у нас в семье»), всю энергию и многочисленные таланты они отдавали, в четком соответствии с идеологией, коллективу и обществу. Никаких частнособственнических инстинктов! Никаких индивидуальных выпендриваний! Быть как все! Думать как все! (А лучше – вообще не думать!) Любить и гордиться героями революции, вождями пролетариата! Жизнь отдать за Советскую родину! Работать и учиться, не думая о награде, как завещал великий Ленин и как учит коммунистическая партия! Педагоги радовались отличной учебе девочек и, главное, их бескорыстному участию в общественной жизни школы и города. На Новогодние праздники девочки ходили как на работу, перевоплощаясь на сцене в Машенок, зайчиков, лисичек... Политические мероприятия: встречи с ветеранами революции; «верные Ленинцы»; «Орлята»... и прочая шалупень – проводились сестрами с огоньком и молодым задором, словно девочки только покинули партизанские костры «Красных орлов». Заменить заболевшего библиотекаря – пожалуйста; встать на место контролера в доме культуры – с нашим удовольствием! Победить там – выиграть здесь – рады стараться! За суетливой общественной жизнью, киношными и книжными героями, девочки не знали дома и его нехитрой хозяйственной деятельности; святость домашнего уклада ими ощущалась словно со стороны, потребительски, и они не участвовали в его творении, а реальную жизнь принимали однобоко и непрактично и, конечно, не могли угадать весомость платы за это незнание. Это были «подранки», выросшие без отца и матери – «пионердомовские» дети.

Александра Михайловна и ее сестра Ольга, вопреки государственной экспансии в отношении сиротствующих детей, делали все, чтобы обогреть, не застудить эти слабые комочки жизни, оградить их от колких ветров реальности, пробудить в них и веру и любовь... но все ли было в их силах? Тащить троих детей на епархиальную пенсию – это жизненное искусство, требующее поступка, крови, жертвы... Ольга, бывшая дореволюционная «барышня» на телефонном пункте, срослась с жизнью сестры, став искренним дополнением ее судьбы. Оставшись «девицей», она всю жизнь стояла с ней плечом к плечу, оберегая и жертвуя.

Это были самые тяжелые годы их жизни. Впрочем, кто измерит и сравнит, кому и когда было тяжелей? Елизавете ли, ее матери, несчастным детям? Однако рубцы в детских душах, безусловно, остались.

Леночка рано стала похожей на привлекательную девушку. Свежий румянец на шелковистой коже, развитая грудь, стройные ноги, в голове яркие впечатления от сонма героинь любимых литературных произведений и кинофильмов. Ей не с кем было делиться девичьими грезами, и она с детства привыкла отвечать сама за себя. Романтическая роль юной девушки, ожидающей своего капитана Грея под алыми парусами, ее не совсем устраивала. Ей требовались четкие ощущения любви, знание поведения мужчин и конкретный опыт взаимоотношений. Вероятно именно так даются плановые задания пришельцам из космоса для изучения поведения человека. Уже в пятнадцать лет Лена со своей подругой с большим энтузиазмом зачастили на городскую танцплощадку. Мир веселого, энергичного поиска под ритмы «Черного кота» и «Королевы красоты» привел в восторг юную интеллектуалку. Ей не приходилось униженно стоять в ожидании партнера, и этот факт возбуждал в ней женскую самонадеянность. С первым же поцелуем Елена, к своему изумлению, почувствовала, как слабеют ноги в коленях и голова сладостно идет кругом. Природа милостиво, пока не дошло до греха, указывала на ее неординарную слабость в мужских объятьях. Но до того ли было пятнадцатилетней девушке, познававшей мир?

Александр сидел на лавочке у своего дома и курил «Беломор». Морозец уже прошелся по местности, и опавшие листья, прихваченные им и присыпанные снежком как нечто отжившее и ненужное, мертво топорщились по краям дорог. Тянул дымок растопленных печей. Солнечный диск, окруженный плотной дымкой, нехотя поднимался над подмороженной землей.

К собственному удивлению, к возникшему у него решению связать свою жизнь с Еленой он пришел легко, в недельный срок. Не было ни ухаживаний, ни любовных томлений. Было плотное, заполнившее теплотой всю душу, ощущение духовного родства, осознание внутренней глубины девушки и тихая жалость, вплетенная в зарождающийся поток досады за ее неоправданные жизненные опыты и провинциальное простодушие, как следствие нелегких семейных обстоятельств. «Но эта опережающая время популярность?! – думал он, – Впрочем, чем лучше те, которые сберегая тело, были неискренни, корыстны, подлы в своих отношениях? Чем лучше они? Ведь чистота и любовь – едины! Каково качество любви – такова и чистота!» Мрачные сомнения закрались было в его душу, но быстро пронеслись темной тучей. Он вспомнил ее ярко выраженную черту: не причинять ни печали, ни тем более вреда окружающим ее людям, и сравнил со своей частой ироничностью, гневливостью и даже агрессивностью. Вспомнил ее мягкий характер, счастливый, веселый нрав, румянец на щеках и здоровое тело... и моментально переключился на мажорный тон.

Парень осознавал, что логические размышления не в силах изменить, усилить или ослабить тягу к ней. Развитая интуиция, уже не раз проявлявшая себя в его жизни, говорила о глубоком укоренении за этой оболочкой беспечности, наносного, чего-то настоящего, болезненно нежного и нераскрытого.

«Однако все происходит как-то слишком практично. Без романтических грез, цветов, скамеек, бессонных ночей и прочей ерунды», – он вдруг вспомнил свою «серую мышь», свою

«несчастную» любовь, свое умирание на преддипломной практике в клубах папиросного дыма и пошлых стишках, посвященных ей... и рассмеялся. «Вся эта любовная чехарда пройдет через месяц. Все эти «Сю, сю, сю! Лю, лю, лю!» Потом – отрезвление, разочарование... Нет! Не на чувствах нужно строить семью. Точнее, не на одних чувствах!», – и уже уверенный в своей правоте, достигнув душевного равновесия, пошел в дом.

Регистрация состоялась в здании поселкового Совета. Ее проводил сам председатель поссовета Иван Хамыкин. Однако намеченное действие оказалось для него слишком сложным для безукоризненного воплощения. Во-первых, Иван, по роду своему далекий от какой-либо пунктуальности, опоздал на четверть часа, чем привел родственников по линии Лерхе в жуткое негодование. Во-вторых, Иван был как всегда пьян и по доброте душевной сразу полез целоваться, что потребовало от Клинцова огромной выдержки, дабы не отреагировать адекватно. Тем не менее его скрытое возмущение было столь велико, что, когда вальяжный Хамыкин преподнес тарелочку с обручальными кольцами и косноязычно предложил ими обменяться, Клинцов нервно взял свое кольцо и надел его на свой палец, и только сразу осознав промашку и смутившись, окольцевал Елену. Его трясло от той дурацкой роли, которую были вынуждены исполнять они с невестой и уважаемые гости перед этим советским пьяным паяцем! Что можно было сделать? Ударить его по морде? Закатить скандал? Ничего этого делать было нельзя! Более того, жена Хамыкина работала на одной «кафедре» с Леной и они, естественно, были приглашены на свадьбу. Сейчас бедная женщина находилась среди гостей и, сгорая от стыда, была вынуждена наблюдать неповторимые по своей оригинальности пируэты мужа. (По понятным причинам, в этот вечер Хамыкин не составил компании своей супруге, предпочтя «продолжение банкета» в другом месте. Зато на следующий день, как побитый пес, приполз просить прощения у Александра. Он его великодушно простил. Nichts zu machen!⁹ Однако дядя Йозеф нашел время и место объяснить Ивану кто он таков!)

Если наблюдать эту «маленькую трагедию» с холма, она превращается в пустяшную советскую сценку. Оттого, что все ее исполнители и сам незатейливый ритуал лишены главного: духовной связи с Творцом и друг с другом. Господь словно показывал на примере тщетность советского «освящения» брака без связи с духовным. Нужно ли было так переживать!?

Мисюра, избранный тамадой, с некоторым оттенком грусти был часто ироничен по отношению к жениху, что принималось за шутку и только усиливало веселье. Он украдкой бросал ревнивые взгляды невесте, но та делала вид, что их не замечает.

– Лен, твой жених напоминает мне чеховского учителя словесности. Помнишь? «Волга впадает в Каспийское море». Ну а в вашем варианте: «Теперь мы поженились и будем жить вместе». Молодожены засмеялись, а Мисюра, снисходительно улыбнувшись, налил себе рюмку водки и, подняв ее, завораживающе глядя на Леночку, со значением выпил. Александр уловил все эти пассажи, однако он был сейчас слишком жених, слишком благороден и слишком широк на этом празднике жизни, чтобы реагировать на шипение и гримасы.

Семь раз, в силу своей студенческой популярности, Клинцов бывал на свадьбах в качестве «дружки». Он хорошо знал и внешнюю сторону свадьбы, и «подводные течения», и оттого мог достаточно точно оценить свадьбу собственную. Молодожены были на ней не какими-то студентами, а вполне зрелыми и уважаемыми людьми с определенным социальным статусом. Свадьба была в меру веселой, хорошо организованной и также в меру строгой, так как исключала полную расслабленность, бесшабашность и «море разлитое», так характерное для русских свадеб. По признакам, только ему известным, ошеломленный и встревоженный знаками, преподанными ему в общежитии невесты и на регистрации, Александр пытался предугадать их дальнейшую судьбу. Несмотря ни на что, оба они были полны решимости в уважении и честности друг к другу достичь вершины своих отношений.

⁹ (нем.) Ничего не поделаешь

Глава 4

Я пережил много страшных вещей в своей жизни, некоторые из них произошли на самом деле.

М.Твен

Молодоженам крупно повезло: техникум сразу же выделил им двухкомнатную квартиру, учитывая Ленины «заслуги перед Отечеством» и в ожидании перспективного раскрытия, как педагога, Александра. Первое семейное гнездо! Как было оно завораживающе дорогим и желанным! Супруги продумывали каждый уголок квартиры и уже были вынуждены включиться в совдеповскую гонку за дефицитными стройматериалами, мебелью и прочим.

– Стены на кухне и в прихожей предлагаю оклеить клеенкой. Нужен дефицитный «Бустилат»! У меня есть одноклассница в отделе химии. Спрошу!

– Палас. Хамыкин обещал меня включить в очередь ветеранов войны. Это он, представляешь, заглаживает свой конфуз на свадьбе. Чтоб молчали! Помнишь?!

– Ну, еще бы! Да ладно, ты что, попросил у него? Ему самому, вероятно, стыдно. Переживает.

– Мне плевать на его переживания! Хватило мерзости отравить «святость момента» – пусть хоть на карачках ползает, а сделает! Вообще ты меня удивляешь – ты совершенно не используешь весь родительский ресурс и вечерников.

– Что ты имеешь в виду?

– А вот что я имею в виду, – Александр быстро достал из портфеля записную книжку и начал зачитывать:

– Валя (вечерняя группа технологов). Склад – линолеум, обои;

Черкасов (гр. 4 электрики) – мать в продуктовом на Ленина;

Одинцов (гр. 3 механики) – отец зав. тепличным хозяйством;

Войцеховская (гр. 3 электрики) – мать – директор мебельного на Советской.

– Короче, – он потряс записной книжкой, – здесь есть все! Информация собрана скрупулезно, достоверно и качественно! Кстати, и собрана она не оттого, что я так мелок и примитивен, и мир для меня – вся эта мелочевка, а оттого, что меня ставят в эти условия! Я же не взятки «борзыми щенками» собираюсь брать.

– Да, я понимаю, но... признаться, и не предполагала о существовании такого «ресурса»

– Неделю назад один вечерник – токарь классный, но электриком, конечно, ему не быть, говорит на перемене:

– Александр Николаевич, у Вас есть огород?

– Ну, есть, – говорю, – у родителей.

– Так вот, я бы лучше Вам огород вскопал, чем курсовой делать.

– Потом приволок мне шикарную рыжую лису – он еще и охотник. И предложил мне в подарок, – Александр захохотал, вспоминая. – Естественно, я отказался, потому что эти реверансы уже из другой оперы.

Елена на мгновение задумалась, а потом рассмеялась:

– А знаешь продолжение с лисой? Невестка Хамыкина – бывшая Убейконь, тоже технологию преподает, пару дней назад появилась в этой роскошной лисе!

– Да ну?! Да, эти ребята ничем не побрезгуют!

Жизнь текла мирно и достаточно интересно. Познавались миры друг в друге, «притирались» характеры, изменялись или исчезали старые – нарождались новые привычки. Время любить. Время созидать. Время разбрасывать камни.

В августе, когда земля щедро одаряет усердного труженика, каким всю жизнь был Клинцов старший, он оставил этот мир. Умер так, как жил: тихо и не постыдно. Как могучее дерево, вдруг засохшее в четыре месяца. Его голубые глаза пред смертью стали синими, как высокое небо над его далекой казацкой станицей. За все это время сын ни разу не нашел времени посидеть у кровати больного отца.

Много заводских рабочих пришло проводить его, и каждый почитал за честь подставить свое плечо к последнему пристанищу товарища...

Человек, в силу обстоятельств, привыкший к медленному умиранию близкого от болезни и принявший неизбежность смерти, не столько печалится, сколько внутренне радуется окончанию его страданий и возможной перспективе «царства небесного». И если это не так, то это или ложь, или неспособность осознать и пережить момент безысходности. Так и у Александра, к его удивлению, в душе наступила тихая, светлая радость. Он вспомнил сверх меры напряженную трудовую жизнь отца и ощутил торжество освобождения его души.

Страдания от проявлений собственного эгоизма и нелюбви придут к нему позднее, как болезненные воспоминания: там сказал, там не заметил, там нагрубил... И уже не обнять, не пожать, не попросить прощения, не обрадовать, не поделиться...

Преподавателям, как и всем советским людям, власти выдавали земельные участки, которые, в зависимости от климата, использовались очастливленным народом под картофель, бахчу, или что другое. Июньским утром, теплым и прозрачным, Мисюра с Александром, закинув на плечи мотыги, шли к месту сбора, для отъезда в поле. Впереди них, одетая в коротенькое желтое платьице, с авоськой, в которой болталась двухлитровая банка воды, шла Леночка. Вожделенно глядя на ее голые стройные ноги Мисюра вспомнил:

– В деревне спрашиваю знакомого деда: «У тебя что, две жены?», а он говорит: «Сестер держу!»

– К чему это ты? – не понял Клинцов.

– Да так, вспомнилось. Слушай, а можно мы с Тamarой после картошки к вам на помывку заглянем? У вас же у одних на всей улице горячая вода. Электробойлер. Это наши власти ублажали австрийцев, которые до тебя жили в этой квартире. Ну, а чтоб у австрийков не возникало дурацких вопросов о несчастном народе, поставили бойлеры у всех жильцов. Не знал, что ли? Я у них переводчиком работал. Прекрасное было времечко!

– Ну, конечно, приходите. К какому времени ждать? К пяти – устроит?

– Вполне.

Поле, на котором предстояло работать, широко раскинулось вдоль обмелевшего ручья. Когда-то здесь ютилась деревенька, и ее развалины еще не заросли окончательно чертополохом и крапивой. Зато земля, годами старательно ухоженная крестьянами, была щедрой и обильной. Всходов картофеля не было видно, они сплошь заросли плотным ровным ковром лебеды. Высоко в ясном голубом небе заливался жаворонок, а от земли тянулись прозрачные мощные потоки. Был ли это воздух или эманации всего живого? «Птички Богу славу поют», – вспомнилось Александру. Он растворялся в родной природе, наполнялся ее силой и красотой. Упав в высокую траву и разметав руки, он слился с этой песней жаворонка, с его крохотным трепещущим тельцем, наполнился солнцем, звуками, запахами, теплом земли.

И всюду звук, и всюду свет!

И всем мирам – одно начало!

И ничего в природе нет,

Чтобы любовью не дышало!

– Саш, давай уже начнем! Еще столько работы, да еще дома уборка предстоит, – нарушила блаженное состояние Александра недовольная Елена.

Клинцов сел, окинул взглядом соседний участок, на котором трудились Мисюра со своей женой Тamarой, и, вздохнув, возвращаясь к прозе жизни, поднялся.

Работал он настолько споро и умело, что на его фоне неловкие движения Елены выглядели унылыми и смешными. Проходивший мимо Мисира не обошелся без замечания:

– Нет, Лене никогда не угнаться за Сашей! Впрочем, дураков работа любит!

Вечером ровно к пяти подошли Мисюры с белишжом и бутылкой водки, завернутой в банные полотенца. Пока женщины готовили закуску, Мисюра возлежал в ванной и наслаждался осознанием собственной важности. Он вспоминал Леночкино тело и ее старания, и ему было приятно, что обе женщины знакомы ему до интимных подробностей, и каждая видит в нем стройного красавца, одаренного Богом всевозможными талантами.

– Тамара, иди спину потри! – капризно закричал он, совсем разнежась.

Застолье протекало под музыку Вивальди, веселое и шумное. Как бывает в молодые годы, спиртного не хватило.

– В ближайшем продуктовом у меня нет знакомых, – грустно признался Клинцов.

– Ничего, я схожу, – снисходительно обронил Мисюра, – мне не нужны знакомые.

– Александр Васильевич покоряет всех продавщиц своим обаянием, – заискивающим тоном сказала Лена, улыбаясь.

Как и ожидалось, вскоре Мисюра вернулся с бутылкой водки, и веселье продолжилось. Уже не ставились в проигрывателе диски с классикой. И все больше звучали то цыгане, то музыка тридцатых годов, а то Тухманов. Мисюра острил и приятным баритоном читал стихи Рождественского и Евтушенко. «Баллада о любви» незабвенного Роберта, где автор болезненно переживает слухи об измене жены, прозвучала как-то особенно впечатляюще:

«... Нам очень скоро сорок. Очень сорок!

Зайди в свой дом. Я двери отворил!»

– Александр Васильевич прямо упивается своим бархатным баритоном! – улыбаясь, виляла хвостом Леночка, с любовью глядя на вошедшего в раж красавца.

Клинцов чувствовал себя счастливым. Тема измены была не его темой, а сорок лет казались такими далекими, и путь к ним таким длинным...

С наступлением летних каникул, еще до смерти отца, Елена уехала в свой родной город к матери. Клинцов, огорченный необходимостью остаться дома, *ворча и придираясь*, остался помогать матери ухаживать за отцом.

Как-то вечером к нему на огонек зашел Мисюра, с которым он за прошедший год успел близко подружиться. Критичность ума, эмоциональность, и даже некоторая неврастеничность натур, приправленная развитой эрудицией, делала приятными их встречи.

– Слышу в открытую форточку – Вивальди на полную катушку. Как не зайти!

– Проходи, Александр, – радушно встретил Клинцов.

– А где Лена?

– К матери укатила. А у меня вот отец умирает. Остался...

– А что с ним?

– Рак горла, – вздохнул Александр.

– Жаль старика, – обыденно и вскользь обронил Мисюра, стараясь быстрее закончить тему.

– Да какой он старик, – не поддержал хозяин, – сильный, крепкий мужик был. Всего-то шестьдесят пять!

– Ну-у! – нетерпеливо пожал плечами Мисюра. – Мы предполагаем, а Бог, как известно... – и ловко вытащив откуда-то изнутри бутылку водки, поставил ее на стол. – Нет желания, по пять капель?

– Да можно, только у меня с закуской...

– Ерунда! Давай тару! Да, слышал похоронка из Афгана на Костю Звягинцева пришла? У тебя учился. Электрик. Мать еще у него в продуктовом работает. Симпатичная такая, крепкая баба.

– Да, да, да! Костя. Ну как же, конечно, помню. Он один у матери. Без отца... Ах, как жаль! Веселый такой парняга был! И все наших гребут! С Урала, Сибири. В подлодки, на границы, горячие точки.

– Что ж ты думаешь, из столиц, что ли, будут брать? Там они все крученые: то папа в министерстве, то барыги, то наркота, то образован – палец в рот не клади! Эти на амбразуру кидаться не станут!

– Да, наши ребята отличаются от других. Последнюю рубашку отдадут – не столичное гнилье! Давай помянем Костю.

Мало-помалу перешли на другие темы. Водка уже заканчивалась, и сарказм Мисюры приобретал все более желчные оттенки.

– Вчера наш «прокуратор» подписал Палыча в завучи. Он же технарь. Тем более металлург, и в слове из трех букв четыре ошибки делает. А с бабами... вероятно, все прИнцессу ищет, – с некоторой завистью произнес красавец. – Елена была для него одной из многих... – Мисюра деланно поперхнулся, вопросительно взглянув на Клинцова, но, не заметив возмущения, а лишь грустный внимательный взгляд, продолжал на полном скаку. – Надеюсь, ты знаешь об их былых отношениях?

Клинцов кивнул и, вздохнув, провокационно добавил:

– Уже слышан. Ты же знаешь, люди не оставят заботы о ближнем. Я подозреваю, что у нее это не последние впечатления перед браком. А тебе она как?

Только на мгновение Мисюра попридержал коней, и тут же, не совладав, ради красного словца понесся дальше:

– Мне понравилась твоя жена в постели, – тоном ценителя произнес он четко.

Да, Александр сознательно спровоцировал, но он никак не был готов услышать такие откровения. Он смотрел на Мисюру, и все было в его взгляде: и удивление, и боль, и гнев обманутого...

– Она тогда не была замужем... Тебя я не знал. Никакой вины я за собой... – лепетал Мисюра. – Ты посмотрел на меня такими честными глазами...

Глаза Александра вдруг стали наполняться слезами. Он сдержал в себе сдавленные, шедшие из глубины тяжелые звуки, жестким комком застрявшие в горле. Эта борьба продолжалась меньше минуты, и когда он судорожно сжал кулаки и глубоко вздохнул, смахнув слезы, у Мисюры затряслись поджилки. Он засуетился, поняв очередной раз, как это часто случалось в его жизни, что проболтался.

– Ну, куда будешь бить? По морде или под дых? – с натянутой улыбкой напряженно вопрошал он, ловя каждое движение Александра.

Еще раз глубоко вздохнув, Клинцов успокоил гостя:

– Ну что ты, Александр! Ты-то здесь причем! Ты гость, и я тебя по-прежнему уважаю.

Вечером позвонил Мисюра:

– Саш, давай так договоримся: скоро приедет Тамара, привезет со своей родины дынь, арбузов. Лена вернется. Встретимся у нас, посидим. И никаких разговоров на эту тему больше вести не будем, как ничего не было!

– Нет, – жестко ответил Клинцов. – У меня будет с ней разговор!

Он положил трубку.

Его трясло от обиды, лжи, без которой он собирался строить свою жизнь, всего этого груза впечатлений о ее прошлой жизни. Медовый месяц, продлившийся полгода, закончился. Открылась новая глава в их жизни, и это ясно осознавалось им.

В день приезда Елены Александр намеренно не стал прибираться в квартире, оставив на обеденном столе пронзительный натюрморт, долженствующий соответствовать минорному тону предстоящего диалога. С подчеркнутой холодностью он встретил ее у автобуса и, односложно отвечая на вопросы, мрачно проводил до дома.

– Ты что, даже не ждал меня? – с обидой выговорила Лена, обводя взором неубранную квартиру и приходя в ужас от кухонного стола, заваленного отвратительными объедками, бутылками, консервными банками, заполненными окурками.

– Ждал, но ждал прежде всего для разговора. Садись... пока.

Предчувствуя наступление чего – то грубого и безжалостного, Леночка села на стул, предварительно обтерев его от бурых брызг застывшего соуса.

– Ну! – не ожидая ничего доброго от предстоящей беседы, взглянула она на полупьяного Александра.

– Когда мы с тобой решили жить вместе, одним из условий нашей дальнейшей жизни... – занудливо начал Александр и, сморщившись от внезапного приступа изжоги, продолжил, – была искренность и честность в отношениях. Так?

– Ну! – тупо повторила Леночка, затравленно глядя на мужа.

– Коротко говоря, я получил сведения, которые опровергают это наше условие. Однако я не буду говорить о его сути, так как надеюсь все услышать от тебя. Ты же собиралась быть честной в браке?! Это же не твое студенчество, где ты так активно «искала любви»!

Она прожила с Клинцовым полгода, время от времени испытывая от него пока еще сдерживаемые приступы дикой обиды и злобы в отношении ее любовного прошлого, о котором так легкомысленно поведала когда-то. Она уже видела и ощутила к своему ужасу, как болезненны и губительны для него, ее, казалось бы, безобидные рассказы о прошлых свиданиях, о несбывшихся надеждах... Не раз пожалев о своем откровении, она готова была жить честно, без труда став «верною супругой и добродетельной матерью». Сейчас она, конечно, догадывалась, к чему шло дело, но признаться в этом, действительно грязном, приключении, значило бы подлить масла в огонь, и без того пожиравший эмоционального и малодушного супруга. Это значило бы... впрочем, все это будет теперь и без ее признаний. Острая боль от низменного предательства Мисюры, так легко и походя обречшего ее на новые страдания и оскорбления, сдавила душу.

– Ну, что ж ты молчишь!? – наседал Александр, видя, как глаза женщины наливаются слезами. – Кончай ты эти сопли! Они никого не трогают! Будешь рассказывать!? – повышал голос муж, все больше уподобляясь служащему тайного приказа на допросе княжны Таракановой.

– Вспомни, как ты постоянно делала ему комплименты: «своим обаянием Александр Васильевич... своим бархатным баритоном Александр Васильевич...», будто сигналила: «Погоди немного, я все помню. Продолжение следует!» И уже скоро, нет сомнений, ты дождалась бы этого, и привычно легла бы с ним, потому что он такой же аморальный и развращенный тип, как и ты! Можно понять, почему ты не стала рассказывать о нем – галерея самцов велика, но чтобы так, держа меня за идиота, строить будущие низменные планы...

– Ничего я не строила! – вдруг решительно, с нотками отчаяния, заявила жена, но Клинцов резко прервал ее, продолжая свою гневную речь.

– Ты смолоду не имела понятия о чести, но стыд, совесть... Лживая, похотливая самка! Завтра же мы идем с тобой подавать заявление о разводе! Клинцов неспешно встал и вышел из кухни. Елена молчала.

И все покатило наперекосяк! Обещанное заявление подано не было в силу какого-то внутреннего сопротивления. («Все будет по-прежнему... Платонов будет со мной...»). Зато уязвленное самолюбие и обслуживающий его ум заработали на полные обороты.

Новый учебный год был тяжелым и учебным в полном смысле этого слова. Начиналась учеба жизни с тем грузом новых впечатлений, которые он получил недавно, и которые нужно было переболеть, пережить, переварить, адаптировать к своему жизневосприятию. И эта адаптация проходила для его глубоко эгоистичной натуры крайне болезненно.

Боль начиналась с утра, с первого взгляда на спокойную, веселую Леночку. «Вот также весело и без внутренних напряжений она меняла своих любовников, ничуть не задумываясь ни о морали, ни о том, кому этот груз будет повешен в качестве приданого», – начинал свою утреннюю гимнастику воспаленный мозг Александра.

– Кстати, а этому, твоему студенту, вздыхателю и счастливчику, как его... который вовремя одумался и не женился на тебе – Сер-е-е-женьке – ты рассказывала о своих приключениях?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.